Наулака

Автор:
Редьярд Киплинг

Наулака

Редьярд Джозеф Киплинг

«Освещенный луной, Никлас Тарвин сидел на не обнесенном перилами мосту через ирригационный канал выше Топаза и болтал ногами над водой. Сидевшая рядом с ним смуглая, маленькая женщина с печальными глазами спокойно смотрела на луну. У нее был загар девушки, не обращающей внимания на ветер, дождь и солнце, а глаза ее были полны той постоянной, неисходной меланхолии, которая присуща глазам, видавшим большие горы и моря, равнины и заботы, и жизнь. Женщины Запада прикрывают такие глаза руками при закате солнца, когда стоят у дверей хижин в ожидании своих мужей, глядя на холмы или равнины без травы, без леса. Тяжелая вообще жизнь бывает всегда еще более тяжелой для женщин…»

Редьярд Киплинг

Наулака

Kipling R.

The Naulahka – A story of West and East (1892)

* * *

I

Освещенный луной, Никлас Тарвин сидел на не обнесенном перилами мосту через ирригационный канал выше Топаза и болтал ногами над водой. Сидевшая рядом с ним смуглая, маленькая женщина с печальными глазами спокойно смотрела на луну. У нее был загар девушки, не обращающей внимания на ветер, дождь и солнце, а глаза ее были полны той постоянной, неисходной меланхолии, которая присуща глазам, видавшим большие горы и моря, равнины и заботы, и жизнь. Женщины Запада прикрывают такие глаза руками при закате солнца, когда стоят у дверей хижин в ожидании своих мужей, глядя на холмы или равнины без травы, без леса. Тяжелая вообще жизнь бывает всегда еще более тяжелой для женщин.

С тех пор как Кэт Шерифф научилась ходить, она жила, повернув лицо к западу и устремив мечтательные глаза в страну пустыни. Вместе с железной дорогой она продвигалась по этой пустыне. Пока она не поступила в школу, ей приходилось жить в таком месте, откуда железная дорога расходилась бы в обе стороны. Часто она со своей семьей останавливалась на законченном участке железной дороги достаточно долго для того, чтобы видеть первые проблески зари цивилизации, поддерживаемые обыкновенно светом электричества, но в новых и все более новых странах, где из года в год требовалось инженерное искусство ее отца, не бывало даже фонарей. Была приемная в палатке, был дом в районе участка строившейся дороги, в котором они жили сами и куда мать Кэт брала иногда жильцов из служащих ее мужа. Но не одна только окружавшая ее обстановка помогла развитию меланхолии в молодой двадцатитрехлетней девушке, которая сидела рядом с Тарвином и только что мягко призналась ему, что он нравится ей, но долг призывает ее в другое место.

В коротких словах она рассказала ему, что долг этот повелевает ей провести жизнь на Востоке и попытаться улучшить положение женщин в Индии. Решение это появилось у нее в момент вдохновения и приняло форму повеления свыше два года тому назад, в конце ее двухгодичного пребывания в школе в Сан-Луи, куда она отправилась, чтобы связать обрывки образования, которого ей не удалось достичь на уединенных стоянках.

Миссия Кэт открылась ей в один апрельский день, согретый и освещенный лучами солнца при первом дуновении весны. Зеленые деревья, наливающиеся почки, солнечный свет – все манило ее на свежий воздух, а между тем ей предстояло слушать лекцию об Индии, которую должна была прочесть женщина-индуска. Ускользнуть ей не удалось, так как лекция входила в круг ее школьных занятий, и она вынуждена была выслушать отчет Пундиты Рамабаи о грустном положении ее сестер на родине. История была душераздирающая, и девушки, сделав пожертвования, которые просили у них в странных выражениях, разошлись примолкшие или испуганные – смотря по характеру – и перешептывались о слышанном в коридорах, пока чье-то нервное хихиканье не нарушило напряженного состояния, и не началась обычная болтовня.

Кэт шла, словно паря над землей, как человек, на которого снизошел Дух, с глазами, устремленными внутрь себя, с пылающими щеками. Она пошла в сад при школе и там, вдали от всех, стала ходить по окаймленным цветами дорожкам, взволнованная, счастливая, уверенная в себе. Она обрела себя. Знали это цветы, знали деревья с нежными листьями; узнало это и яркое небо. Голова у нее была поднята высоко; ей хотелось танцевать и – еще более – плакать. Сердце учащенно билось; горячая кровь пела в жилах. Временами она останавливалась и глубоко вдыхала свежий воздух. В эти мгновения она словно давала обет посвятить себя служению.

Вся ее жизнь должна была начаться с этого часа; она посвящала себя долгу, открывшемуся перед ней, как некогда он открывался пророкам, – посвящала все свои силы, ум и сердце. Ангел Господень дал ей приказание. Она радостно повиновалась ему.

Теперь, после двух лет, проведенных в подготовке, она вернулась в Топаз опытной, ученой сиделкой, горящей желанием начать свое дело в Индии, и узнала, что Тарвин хочет, чтобы она осталась в Топазе и вышла за него замуж.

– Можете называть это как хотите, – говорил Тарвин в то время, как она продолжала смотреть на луну, – можете называть долгом, можете называть это сферой женщины или, как сказал сегодня вечером в церкви всюду сующий свой нос миссионер: «Несением света сидящим во тьме». Я не сомневаюсь, что это можно окружить ореолом; вас научили всяким громким словам обо всем, что касается Востока. Ну а по-моему, это просто какое-то замерзание.

– Не говорите так, Ник! Это – призвание.

– Ваше призвание – оставаться дома; а если вы не знаете, то я уполномочен заявить вам это, – упрямо проговорил Тарвин. Он бросил камень в канал и мрачно смотрел на расходившиеся по воде круги.

– Дорогой Ник, как можете вы уговаривать свободного человека оставаться дома и уклоняться от своего долга после того, что мы слышали сегодня?

– Ну, клянусь священным очагом, – нужно же, чтобы кто-нибудь в наше время уговаривал девушек оставаться верными старине! Вы, девушки, в соответствии с вашими модными взглядами, считаете себя никуда не годными, пока не сбежите из дома. Это для вас – путь к почестям.

– Сбежим! – задыхаясь, проговорила Кэт. Она взглянула на него.

– Как же назвать иначе? Так назвала бы это маленькая девочка, которую я знавал на десятом участке железной дороги. Кэт, дорогая, вспомните старые дни; вспомните себя, вспомните, чем мы были друг для друга, и посмотрите, не покажется ли вам все в том же свете, как мне. Ведь у вас есть отец и мать. Не можете же вы сказать, что с вашей стороны хорошо покинуть их. А вот тут, на мосту, рядом с вами сидит человек, который любит вас всеми силами души – любит за все прошлое. И вам он был некогда мил, не правда ли?

Он обвил рукою ее талию, и на мгновение она позволила этой руке лежать спокойно.

– Неужели и это ничего не значит для вас? Неужели вы не видите в этом своего призвания, Кэт?

Он повернул ее головку и некоторое время пристально смотрел в ее глаза. Глаза были темные, и свет луны увеличивал их темную глубину.

– Вы считаете, что имеете какое-то право на меня? – спросила она.

– Я счел бы возможным сделать все, чтобы удержать вас. Но нет, я не имею никакого права, по крайней мере, такого, через которое вы не могли бы перешагнуть. Но у всех нас есть известные права; черт возьми, само положение порождает известные права. Если вы не останетесь, вы тоже отказываетесь от

известных прав. Вот что я хочу сказать.

– Вы несерьезно смотрите на вещи, Ник, – сказала она, отталкивая его руку.

Тарвин не понял, к чему относится ее фраза, но проговорил добродушно:

– О, нет! Чтобы понравиться вам, я готов обратить в шутку самый серьезный вопрос жизни.

– Видите, вы говорите несерьезно.

– Для меня серьезно только одно, – шепнул он на ухо ей.

– Что это?

Она отвернулась.

– Я не могу жить без вас. – Он наклонился и прибавил еще тише: – И не хочу, Кэт.

Кэт сжала губы. И у нее была твердая воля. Они сидели на мосту, оспаривая взгляды друг друга, пока часы в одной из хижин на противоположной стороне канала не пробили одиннадцать. Река текла с гор, возвышавшихся в полумиле от юрода. Чувство одиночества и безмолвия охватило Тарвина, когда Кэт поднялась и решительно заявила, что идет домой. Он знал, что она считала себя обязанной ехать в Индию, и его воля беспомощно подчинилась ее воле. Он спрашивал себя, куда девалась та воля, благодаря которой он зарабатывал себе средства на жизнь, воля, благодаря которой он достиг больших успехов в глазах жителей Топаза и метил в представители законодательной власти, воля, благодаря которой он мог пойти гораздо дальше, если не случится чего-нибудь особенного. Он презрительно усмехнулся, прибавив мысленно, что, хотя он и любил ее, она только девушка, нагнал ее, когда она повернулась спиной к нему.

– Итак, молодая женщина, – проговорил он, – вы собираетесь уехать?

Она не отвечала и продолжала идти вперед.

– Вы пожертвуете своей жизнью ради ваших индийских планов, – продолжал он. – Я не допущу этого. Ваш отец не допустит. Ваша мать будет рыдать, и я поддержу ее. Нам понадобится ваша жизнь, если она не нужна вам. Вы не знаете, на что решаетесь. Та страна не годится и для крыс; это дурная страна – да, огромная дурная страна – в нравственном, физическом и сельскохозяйственном отношении дурная страна. Это не место для белых людей, не говоря уже про белых женщин; там нет ни климата, ни правительства, ни дренажа, а холеры, жары и драк столько, что невозможно там жить. В газетах вы найдете все это. Вам нужно остаться там, где вы находитесь, барышня!

Она остановилась на минуту на дороге в Топаз, по которой они шли, и при свете луны взглянула ему в лицо. Он взял ее за руку и, несмотря на свой властный тон, с надеждой ожидал ее ответа.

– Вы добрый человек, Ник, но, – она опустила глаза, – тридцать первого я отплываю в Калькутту.

II

Для того чтобы отплыть 31-го из Нью-Йорка, необходимо было отправиться из Топаза – самое позднее – 27-го числа. Было уже 15-е. Тарвин использовал, насколько возможно, этот промежуток времени. Каждый вечер он приходил к Кэт убеждать ее остаться. Кэт выслушивала его с самой кроткой готовностью поддаться его убеждениям, но в уголках ее рта виднелась твердая решимость, а в ее глазах печальное желание быть как можно добрее к нему боролось с еще более печальной беспомощностью сделать это.

– Это мое призвание! – кричала она. – Это мое призвание! Я не могу отказаться от него! Я не могу не ехать!

Она говорила ему о том, как отчаянный призыв сестер, хотя отдаленный, но такой ясный, глубоко проник в ее сердце, как бесполезный ужас и мучения их жизни волновали ее и днем и ночью, и Тарвин не мог не уважать той глубоко чувствуемой необходимости, которая удаляла его от нее. Он не мог не умолять ее всеми известными ему словами не слушать этого призыва, но тяжелое влияние этого призыва не казалось ни странным, ни невероятным его

великодушному сердцу. Он только горячо доказывал, что существует другое призвание, другие люди, нуждающиеся в помощи. И он нуждается в ней; и она нуждается: пусть только остановится и прислушается. Они нуждаются друг в друге, и это – самое главное. Женщины в Индии могут подождать; впоследствии, когда у него будут средства, они могут вместе поехать туда, посмотреть, что там делается. А пока их ждет любовь! Он был изобретателен, влюблен, знал, чего желает, и находил самые убедительные выражения, чтобы доказать, что, в сущности, она желает того же, что и он. Кэт часто приходилось делать усилия, чтобы поддержать свою решимость в промежутках между его посещениями. Отвечать многословно она не могла. Она не обладала даром красноречия Тарвина. Это была тихая, глубокая, молчаливая натура, умевшая только чувствовать и действовать.

Она обладала в достаточной мере смелостью и выносливостью, свойственными подобным натурам, иначе ей пришлось бы часто сомневаться и в конце концов отказаться от решения, принятого ею в один весенний день в саду, два года тому назад. Первым препятствием являлись ее родители. Они наотрез отказались разрешить ей заняться медициной. Ей хотелось быть в одно и то же время доктором и сиделкой, так как она думала, что и то и другое может пригодиться в Индии. Но оказывалось, что оба ее желания не могут быть исполнены разом, и потому она довольствовалась тем, что поступила ученицей в школу для сиделок в Нью-Йорке. Родители, пораженные открытием, что в течение всей ее жизни не противились ее кротко выражаемой, но энергичной воле, уступили ей.

Когда она объяснила матери свое желание, та пожалела, что не оставила ее расти дикаркой, как, по-видимому, намеревалась сделать одно время. Теперь мать огорчалась, что отец ее ребенка нашел место на этой ужасной железной дороге. В данное время от Топаза шли два железнодорожных пути. Когда Кэт вернулась из школы, полотно железной дороги тянулось на сто миль к западу, а ее семья была все еще на прежнем месте. На этот раз прибой не увлек их за собой.

Отец Кэт купил участок земли и слишком разбогател для того, чтобы двигаться дальше. Он отказался от службы и занялся политикой.

Любовь Шериффа к дочери отличалась свойственной ему вообще тупостью, но вместе с тем и глубокой привязанностью, часто встречающейся у ограниченных людей. Он баловал ее, как это всегда бывает с единственным ребенком. Он

привык говорить, что она, «вероятно, поступает, как следует», и довольствовался этим. Он очень заботился, чтобы богатство принесло ей пользу, и у Кэт не хватало духу рассказать ему, каким образом богатство могло бы быть полезно ей. Матери она поверяла все свои планы; отцу же сказала только, что ей хочется быть ученой сиделкой. Ее мать печалилась втайне с суровой, философской, почти радостной безнадежностью женщин, которые привыкли ожидать всегда самого худшего. Тяжело было Кэт огорчать мать и до глубины души больно сознавать, что она не может сделать того, чего ожидали от нее родители. Как ни неопределенно было это желание, оно состояло только в том, чтобы она вернулась домой, была молодой барышней, как остальные. Она чувствовала, что оно справедливо и резонно и плакала, жалея их, потому что скромно считала себя предназначенной для другого.

Это было первое затруднение. Диссонанс между священными минутами в саду и сухой прозой, которая должна была осуществить их, становился все сильнее. Он устрашал ее и иногда раздирал душу. Но она продолжала идти вперед – не всегда решительно, не всегда смело и не очень умно, но всегда вперед.

Жизнь в школе для сиделок оказалась тяжелым разочарованием. Она не ожидала, что предстоящий ей путь будет усеян розами, но в конце месяца была готова горько смеяться над разницей между ее мечтами и действительностью. Мечтания относились к ее призванию; действительность не принимала его в расчет. Она надеялась с первых же дней учения стать другом несчастных, помогать им и облегчать их страдания. А в действительности ей пришлось кипятить молоко для детей.

Дальнейшие ее обязанности в первые дни имели не большее отношение к занятиям сиделки; оглядываясь на других девушек, чтобы видеть, как они поддерживают свои идеалы среди дела, имевшего так мало отношения к их будущим обязанностям, она заметила, что большинство из них кончает тем, что вовсе не имеет идеалов. По мере того как она продвигалась вперед и ей доверили детей и позволили нянчиться с ними, она все яснее чувствовала, как ее цель все более отдаляла ее от других учениц. Остальные поступили сюда с деловыми целями. За одним-двумя исключениями, они, по-видимому, решили заняться уходом за детьми и больными, как могли бы заняться портняжным делом. Они поступили в школу, чтобы научиться добывать по двадцать долларов в неделю, и сознание этого разочаровало Кэт еще более, чем то дело, которое она должна была исполнять, готовясь к своему высокому призванию. Болтовня девушки из Арканзаса, которая, сидя на столе и болтая ногами, рассказывала о

своем флирте с молодыми докторами в больницах, иногда доводила ее до полнейшего отчаяния. Ко всему примешивалась дурная пища, недостаток сна, отдыха, долгие часы работы и нервное напряжение от сознания, что вся жизнь ее имеет значение только с точки зрения затраты физических сил.

Кроме занятий, которые она разделяла с другими ученицами, Кэт брала уроки индостанского языка. Она постоянно испытывала чувство благодарности за то, что ее прежняя жизнь дала ей силы и здоровье. Без этого она давно бы сломалась; а сознание долга заставляло ее не терять сил, потому что представлялась возможность хоть несколько облегчить страдания женщин Индии. Это обстоятельство наконец примирило ее с теми тяжелыми условиями, в которых протекала ее жизнь.

Отвратительные подробности самого дела не пугали ее. Напротив, она полюбила их, когда поняла самую суть дела, и, когда в конце первого года ее назначили помощницей сиделки в женской больнице, она почувствовала, что приближается к цели. Благодаря пробудившемуся в ней интересу даже хирургические операции казались ей приятными, потому что они приносили помощь и позволяли и ей помогать немного людям.

С этого времени она много и усердно работала. Более всего ей хотелось стать знающей, умной и умелой. Когда настанет время, что эти беспомощные, заключенные в стенах женщины найдут знания и утешение только у нее, она хотела бы, чтобы они могли опереться на силу ее ума. Много ей пришлось испытать, но ее утешало, что все больные любили ее и ждали ее прихода. Ее неуклонное преследование цели уносило ее все дальше и дальше. В данное время она уже действовала самостоятельно, и в большой пустой палате, в которой она придавала силы стольким страдалицам в минуты последнего прощания, где она жила среди смерти и имела дело с ней, где она ходила неслышными шагами, успокаивая невыразимую боль, изучая признаки человеческих мучений, слыша только вздохи страдания или облегчения, однажды ночью она исследовала глубину своей души и получила от внутреннего ее указателя подтверждение своей миссии. Она вновь посвятила себя ей с радостью, превышавшей радость первого посвящения.

Каждый вечер, в половине девятого, Тарвин вешал свою шляпу в коридоре ее дома. Несколько позже одиннадцати он угрюмо снимал шляпу с вешалки. Этот промежуток времени он проводил в разговорах о ее призвании. Говорил убедительно, повелительно, умоляющим, негодующим тоном. Негодование его

относилось к плану Кэт, но иногда переходило и на нее саму. Она оказывалась способной не только защищать свой план, но и защищаться самой и в то же время сдерживаться, а так как Ник не обладал последним искусством, то эти заседания часто заканчивались рано и внезапно. На следующий вечер он с раскаянием приходил и усаживался против нее. Опершись локтями на колени и поддерживая с угрюмым видом голову руками, он покорно уговаривал ее образумиться. Такое настроение продолжалось недолго, и подобного рода вечера всегда заканчивались тем, что он старался вразумить девушку, изо всех сил колотя кулаком по ручке кресла.

Никакое чувство нежности не могло заставить Тарвина отказаться от попытки заставить других верить, как он. Но попытки эти были полны добродушия и не производили дурного впечатления на Кэт. Она так многое любила в нем, что иногда, когда они сидели друг против друга, она улетала мечтой – как в былое время, когда она была еще школьницей, отпущенной на каникулы, – в будущее, которое могла бы провести рядом с ним. Она резко обрывала эту мечту. Теперь ей нужно думать совсем о другом. Но все же ее отношения с Тарвином должны всегда отличаться от отношений со всеми другими людьми. Они жили в одном доме в прерии на конце железнодорожного участка и день за днем вставали, чтобы вместе вести печальную жизнь. Утро начиналось при сером рассвете над печальной серой равниной, а вечером солнце покидало их одинокими среди ужасного, безмолвного пространства. Вместе они ломали лед грязной реки вблизи дома, и Тарвин нес ее ведро. Под одной кровлей дома жило много людей, но добр был только Тарвин. Другие бежали исполнять ее просьбы. Тарвин узнавал, что надо было сделать ей, и исполнял за нее работу, пока она спала. А дела было много. На руках у ее матери была семья в двадцать пять человек, двадцать из которых были жильцы – люди, работавшие под руководством Шериффа. Собственно, рабочие, строившие железную дорогу, жили рядом в большом бараке или временных хижинах и палатках. У Шериффов был дом, т. е. они жили в постройке с выступающими карнизами, с окнами, которые можно было подымать и опускать, и с верандой. Но это составляло все их удобства. Матери и дочери приходилось работать одним, прибегая иногда к помощи двух шведов с сильными мускулами, но весьма сомнительными кулинарными способностями.

Тарвин помогал ей, и она привыкла опираться на него; она позволяла ему помогать ей, и Тарвин любил ее за это. Узы общей работы, взаимной зависимости, одиночество влекли их друг к другу, и, когда Кэт уехала из дому в школу, между ними было заключено безмолвное соглашение. Сущность такого соглашения, конечно, лежит в признании его женщиной. Когда Кэт в первый раз

вернулась из школы на каникулы, ее поведение не отвергало ее обязательств относительно Тарвина, но и не подтверждало соглашения, и Тарвин, вообще беспокойный и настойчивый, не решился настаивать на своих правах. Права были не такие, которые можно было бы предъявить на суде.

Такая сдержанность годилась, пока он надеялся иметь ее всегда рядом, пока он представлял себе ее будущую жизнь похожей на жизнь всякой девушки, не вышедшей замуж. Но дело изменилось, когда она сказала, что поедет в Индию. Во время разговора на мосту и в последующих разговорах по вечерам он уже не думал ни о вежливости, ни о сдержанности, ни о необходимости подождать, пока его предложение будет принято формально. Он болезненно сознавал, насколько он нуждался в ней, и желал удержать ее.

Но, по-видимому, она действительно собиралась уезжать, несмотря на все его слова, на всю его любовь к ней. Он заставил ее поверить в его любовь – если это могло служить утешением – и настолько, что действительно смог огорчить ее. Вот это в самом деле утешение!

Между тем постоянные заботы о ней заставляли его тратить много времени, а она достаточно любила его, чтобы не сознавать этого. Но когда она говорила ему, что он не должен терять на нее столько времени, не должен так много думать о ней, он просил ее не утруждать своей головки: для него она значила больше положения и политики, он знал, что делает.

– Я знаю, – возражала Кэт. – Но вы забываете, в какое неловкое положение вы ставите меня. Я не желаю нести ответственность за вашу неудачу. Ваша партия скажет, что я подстроила это.

Тарвин проговорил резкое, необдуманное замечание насчет своей партии, на которое Кэт ответила, что если ему это все равно, то далеко не безразлично для нее, она не желает, чтобы после выборов говорили, что он не заботился о голосах ради нее и вследствие этого место получил ее отец.

– Конечно, – откровенно прибавила она, – я желаю, чтобы избрали отца, а не вас, но не желаю мешать вам.

– Не беспокойтесь о том, получит ли ваш отец это место! – крикнул Тарвин. – Если только это тревожит вас, то можете спать спокойно. Осенью я намереваюсь

переселиться в Денвер, и вам лучше всего было бы отправиться со мной. Ну, хотелось бы вам быть женой спикера и жить на Капитолийском холме?

Кэт любила его настолько, что наполовину разделяла его обычную уверенность в себе. Он твердо верил, что вся разница в том – иметь или не иметь что-нибудь необходимое, для него состояла исключительно в том, желает ли он этого или не желает.

– Ник, – вскрикнула она насмешливо, но с некоторым колебанием, – вам не быть спикером!

– Я готов быть губернатором, если бы знал, что это может понравиться вам. Дайте мне надежду и увидите, что я сделаю!

– Нет-нет, – сказала она, покачивая головой. – Мои губернаторы – все раджи и живут далеко отсюда.

– Но Индия наполовину меньше Соединенных Штатов. В какой штат отправляетесь вы?

– Какой штат?..

– Ну, госпиталь, город, страна, округ? Какой ваш почтовый адрес?

– Ратор, провинция Гокраль Ситарун, Раджпутана, Индия.

– Вот как! – с отчаянием повторил он.

Страшная определенность чувствовалась в этом адресе, приходилось почти верить в ее отъезд. Он с безнадежностью видел, как она исчезла из его страны и перенеслась на другой край света с названием из «Тысячи и одной ночи» и, вероятно, населенный людьми из этих сказок.

– Глупости, Кэт. Вы не станете жить в такой языческой, волшебной стране. Какое отношение имеет она к Топазу, Кэт? Какое отношение к родине? Говорю вам, вы не можете сделать этого. Пусть они сами ухаживают за больными. Предоставьте это им! Или предоставьте мне! Я поеду туда сам, обращу часть их языческих

драгоценностей в деньги и найму штат сиделок, сообразно плану, который вы продиктуете мне. Потом мы поженимся, и я повезу вас посмотреть на мое дело. Я сумею устроить все. Не говорите, что они бедны. Одного ожерелья, о котором говорилось в проповеди, достаточно, чтобы нанять целую армию сиделок. Если ваш миссионер говорил правду в своей проповеди в церкви, то легко можно было бы покрыть таким ожерельем весь государственный долг. Алмазы величиной с куриное яйцо, осыпанные жемчугом сбруи, сапфиры величиной с мужской кулак и громадные изумруды – и все это они вешают на шею какого-нибудь идола или хранят в храме, а призывают приличных белых девушек приехать ухаживать за ними! Это здорово, по-моему!

– Разве деньги могут помочь им! Дело не в том. В деньгах нет ни милосердия, ни доброты, ни жалости, Ник. Единственно, чем можно помочь, – это отдать себя.

– Отлично. Так отдайте и меня! Я поеду вместе с вами, – сказал он, возвращаясь к более безопасному, юмористическому взгляду на вещи.

Она рассмеялась, потом остановилась внезапно.

– Вы не должны ехать в Индию, Ник. Вы не сделаете этого. Вы не последуете за мной! Вы не должны.

– Ну, если бы я достал место раджи, то, пожалуй, не отказался бы. Тут можно было бы заработать денежки.

– Ник! Американца не сделают раджой.

Странно, что мужчины, для которых жизнь представляется шуткой, находят утешение в женщинах, для которых она – молитва.

– Ну, зато американец может обойти раджу, – невозмутимо заметил Тарвин, – это, пожалуй, приятнее, раджейство-то, я думаю, чрезвычайно опасная штука.

– Почему?

– Сужу по страховым обществам – двойная премия. Ни одна из моих компаний не пошла бы на этот риск. Они могли бы взять визиря, – задумчиво прибавил он. –

Ведь и визири из той же части арабских сказок, не правда ли?

– Ну, вы не поедете, – решительно сказала Кэт. – Вы должны держаться в стороне. Помните это.

Тарвин внезапно вскочил.

– Спокойной ночи! Спокойной ночи! – крикнул он.

Он нетерпеливо вскинул голову и отстранил ее от себя прощальным уничтожающим жестом. Она пошла за ним в коридор; со свирепым видом он снял с вешалки свою шляпу и не позволил ей помочь ему надеть пальто.

Человеку невозможно в одно и то же время успешно вести свои любовные и политические дела. Может быть, сознание этого факта заставило Шериффа смотреть одобрительно на ухаживание своего будущего противника по выборам за своей дочерью. Тарвин всегда интересовался Кэт, но не так сильно и настойчиво, как в последнее время. Шерифф постоянно путешествовал по избирательному округу и редко бывал дома; но во время своих случайных появлений в Топазе он тупо улыбался, глядя на занятия своего соперника. Но, быть может, он слишком полагался на увлечение молодого человека, рассчитывая одержать легкую победу на предвыборных собраниях в Каньон-Сити. Сознание, что он недобросовестно относится к своей партии, возбудило в Тарвине жажду успеха. Результатом явилось раздражение, а пророчества и намеки Кэт действовали, как перец на открытую рану.

Митинг в Каньон-Сити был назначен на вечер следующего после только что переданного разговора дня, и Тарвин ступил на шаткую платформу из пустых бочонков на скэтинг-ринге с бешеным намерением доказать, что он еще тут, хотя и влюблен.

Шерифф выступал первым, и Тарвин сидел в отдалении, беспокойно покачивая длинной ногой. Сидевшие внизу скудно освещенные слушатели смотрели на нервного, костлявого, небрежно одетого человека с умными, добрыми и вместе с тем вызывающими глазами и властным подбородком. У него был большой нос, изборожденный морщинами лоб; волосы поредели на висках, как это бывает у молодых людей на западе. Быстрый, проницательный взгляд, которым он обводил зал, производя оценку слушателей, говорил о находчивости, о качестве,

которое, быть может, производит самое сильное впечатление на людей, живущих за Миссисипи. Он был одет в короткое пальто-сак, которое годится для большей части публичных церемоний на западе; но обычную фланель он оставил в Топазе и был одет в белое полотно цивилизации.

Слушая Шериффа, он удивлялся, как может отец Кэт выражать ложные взгляды на серебро и тариф, когда дома его дочь замышляет такое страшное дело. Верные взгляды на эти вопросы смешались в его уме с Кэт до такой степени, что, когда он встал, чтоб отвечать Шериффу, он еле удержался, чтобы не спросить, как, черт возьми, может человек рассчитывать на принятие интеллигентной частью митинга той политической экономии, которую он пробует навязать управлению штата, когда не в состоянии справиться со своей собственной семьей? Почему он не остановит дочь, не помешает ей губить свою жизнь? – вот что он желал знать. Для чего существуют отцы? Он удержался, однако, от этих замечаний и вместо этого бросился в поток цифр, фактов и аргументов.

Тарвин обладал именно тем талантом, который позволяет оратору, нуждающемуся в голосах, пробраться в самое сердце избирателей; он укорял, обвинял, умолял, настаивал, обличал; он вздымал свои худые, длинные руки и призывал в свидетели богов, статистику и республиканскую партию, а когда было можно, то не пренебрегал и анекдотом. «Это похоже на того человека, что я знавал в Уисконсине, он…» – кричал Тарвин тем разговорным тоном, который употребляют политические ораторы для своих анекдотов. То, что говорил Тарвин, вовсе не походило на слова и поступки человека из Уисконсина, да и Тарвин никогда не бывал в Уисконсине и не знавал такого человека; но анекдот был хорош, и, когда толпа заревела от восторга, Шерифф несколько подтянулся и попробовал улыбнуться, а этого-то и хотел Тарвин.

Раздавались голоса несогласных, и дебаты не всегда ограничивались платформой; но глубокие вздохи облегчения, следовавшие часто за аплодисментами или смехом, пришпоривали Тарвина, который помогал служителю ринга готовить стоявший перед ним темный напиток и совершенно не нуждался в шпорах. Под влиянием смеси в кувшине, страстной решимости в сердце, вздохов и свистков он постепенно таял в экстазе убеждения, который удивлял его самого, и наконец понял, что аудитория в его руках. Тогда он схватил слушателей, поднял их вверх, словно фокусник, сбросил их в страшные пропасти, подхватил их снова, чтобы показать, как он может сделать это, прижал их к своему сердцу и рассказал новый анекдот. И с прижатой к сердцу

аудиторией он стал победоносно расхаживать взад и вперед по распростертому телу демократической партии, распевая реквием. Великая то была минута! В конце речи все встали и громко сказали это. Слушатели стояли на скамьях и кричали так громко, что крики их сотрясали здание. Они бросали в воздух шляпы, и танцевали друг на друге, и хотели пронести Тарвина на плечах вокруг зала.

Но Тарвин, задыхаясь, отказался от чествования и, с усилием пробившись сквозь толпу, собравшуюся на платформе, добрался до комнаты позади сцены. Он захлопнул за собой дверь, заложил ее болтом и бросился на стул, отирая лоб.

– И человек, который может сделать это, – пробормотал он, – не может заставить крошечную, слабую девушку выйти за него замуж!

III

На следующее утро в Каньон-Сити общее мнение было таково, что Тарвин вытер ноги о своего противника; и результатом речи Тарвина, как рассказывали, было вот что: когда Шерифф нехотя поднялся, чтобы отвечать, как следовало по программе, общий рев заставил его сесть на свое место. Однако Шерифф встретился с Тарвином на станции железной дороги, откуда оба должны были отправиться в Топаз, изобразил подобие поклона и улыбки и не выказывал ясно желания избегать по пути. Если Тарвин действительно поступил с отцом Кэт так, как приписывал ему голос Каньон-Сити, то Шерифф, по-видимому, не был особенно расстроен этим фактом. Но Тарвин сообразил, что у Шериффа есть уравновешивающие огорчение причины для утешения. Это размышление повело к другому: он разыграл дурака. Правда, он имел удовольствие публично доказать кандидату-сопернику, кто из них лучший человек, и насладиться сознанием, что доказал своим избирателям, что он сила, с которой приходится считаться, несмотря на безумное миссионерское увлечение, свившее гнездо в голове некой молодой женщины. Но разве это приближало его к Кэт? Скорее – насколько мог повлиять на нее отец в этом отношении – не отдаляло ли его это обстоятельство от нее настолько же, насколько приближало его к избранию? Он верил теперь, что будет избран. Куда? Даже пост спикера, которым он хотел прельстить ее, казался таким отдаленным при свете вчерашних событий. Но для Тарвина единственное желание состояло в том, чтобы суметь уговорить сердце

Кэт.

Он опасался, что не будет немедленно избран на этот высокий пост, и, глядя на крепкую, коренастую фигуру, стоявшую рядом с ним у полотна железной дороги, он знал, кого должен благодарить за эту неудачу. Она никогда не отправилась бы в Индию, если бы у нее был отец, похожий на некоторых знакомых ему людей. Но чего можно ожидать от любезного, политичного, склонного к примирению, эгоистичного, ко всему легко относящегося человека? Тарвин простил бы Шериффу его любезность, если бы она опиралась на силу. Но у него было свое мнение о человеке, случайно разбогатевшем в таком городе, как Топаз.

Шерифф представлял собой для Тарвина невыносимое зрелище человека, удивительно разбогатевшего не по своей вине и ощупью бродившего в богатстве, старательно избегая обидеть кого-либо. Он преуспел в политике благодаря этому и был предметом восторга бального комитета железнодорожных инженеров, экскурсий, дружеских кружков, собиравшихся в сумерки, а также организаторов церковных базаров, театральных представлений и ужинов с устрицами. Он посещал без разбору все ужины с устрицами и всевозможные базары и заставлял бывать там Кэт и ее мать; а коллекции баптистских кукол, пресвитерианских вышивок, римско-католических подушек на диваны и разных изящных безделушек заполняли его гостиную.

Но его добродушный характер не был оценен по достоинству. Дружеские кружки принимали от него деньги, но держались своего мнения о нем; а Тарвин, как кандидат соперничающей партии, доказал, что он думает о системе политических взглядов Шериффа, открыто отказываясь купить хотя бы один билет. Он очень хорошо понимал, что слабоумное желание нравиться всем служило причиной отношения Шериффа к мании дочери. Китти так хотелось уехать, поэтому лучше отпустить ее – такова была его неловкая версия домашнего положения. Он говорил, что сначала сильно противился этой идее Кэт, и Тарвин, знавший, как он любил дочь, не сомневался, что он сделал все возможное. Тарвин огорчался не намерениями его, а неуменьем выполнить их. Однако он признавал, что и тут виновата Кэт, так как она не хотела слушать никаких просьб.

Когда подошел поезд, Шерифф и Тарвин вместе вошли в вагон-салон. Тарвин не стремился разговаривать во время пути в Топаз, но и не хотел, чтобы думали,

будто он желает уклониться от разговора. Шерифф предложил ему сигару в курительной комнате пульмановского вагона. Когда Дэв Льюис, кондуктор, проходил мимо них, Тарвин приветствовал его, как старого друга, и уговорил его вернуться и поболтать, когда он окончит обход. Тарвину Льюис нравился, как тысячи других случайных знакомых в штате, среди которых он пользовался популярностью, и приглашение было сделано не только ради того, чтобы избегнуть разговора с Шериффом наедине. Кондуктор сказал им, что в отдельном вагоне едет председатель правления «Трех С.».

[Central-Colorado-California – Центральной Колорадо-Калифорнийской железной дороги.]

– Да неужели! – вскрикнул Тарвин и попросил немедленно представить его; это именно тот человек, которого ему нужно видеть. Кондуктор рассмеялся и сказал, что сам он не директор; однако когда, спустя некоторое время, он вернулся после обхода, то сказал, что председатель спрашивал его, не может ли он рекомендовать какого-нибудь благомыслящего человека в Топазе, с которым можно было бы разумно обсудить вопрос о проведении «Трех С.» в Топаз. Кондуктор сказал, что в настоящее время у него в поезде едут два таких человека, и председатель просил передать, что он был бы рад поговорить с ними, если бы они перешли в его вагон.

Целый год директора железной дороги говорили о проведении линии через Топаз в бесстрастных и безразличных выражениях директоров, ожидающих поощрения. Промышленный совет Топаза собрался и проголосовал за поощрение. Оно выразилось в обязательствах города и предоставлении участков земли и в конце концов в намерении покупать железнодорожные акции по завышенным ценам. Это было прекрасно даже для промышленного совета Топаза, но, под влиянием местного честолюбия и гордости, Рестлер поступил еще лучше. Рестлер лежал в пятнадцати милях от Топаза, в горах, и, следовательно, ближе к рудникам, и Топаз считал его своим соперником не в одном этом деле.

Оба города достигли расцвета одновременно; но потом успех покинул Рестлер и переселился в Топаз. Это стоило Рестлеру потери порядочного количества граждан, которые переселились в более процветающее место. Некоторые из

граждан разобрали свои дома и перевезли их в Топаз, к огорчению оставшихся жителей Рестлера. Но теперь очередь дошла до Топаза, и он начал сознавать, что теряет свое значение. Дома два перевезли обратно. На этот раз в выигрыше оказывался Рестлер. Если туда проведут железную дорогу – Топаз погиб. Если Топазу удастся захватить дорогу – благосостояние города обеспечено. Оба города ненавидели друг друга, как ненавидят подобные города на западе Америки – злобно, радостно. Если бы какой-нибудь земной переворот уничтожил один из городов, другой умер бы от недостатка интереса в жизни. Если бы Топаз мог убить Рестлер или Рестлер Топаз большей предприимчивостью, деятельностью или громом и молнией местной прессы, оставшийся в живых город организовал бы триумфальное шествие и победный танец. Но истребление одного из этих городов какими-либо другими средствами, кроме предназначенных самими небесами средств интриг, газетного шума и деятельности промышленного совета, было бы жестоким горем для другого.

Самое драгоценное для гражданина запада – это возможность гордиться своим городом. Смысл этой гордости состоит в ненависти к соперничающему городу. Гордость своим городом не может существовать без зависти к другому, и поэтому для Топаза и Рестлера было счастьем, что они находились на подходящем расстоянии для ненависти, так как живая вера людей в одно определенное место пустыни запада, на котором они решили раскинуть свои палатки, заключает в себе будущее запада. У Тарвина чувство любви к родному городу было почти религией. Это чувство было для него всего дороже на свете, за исключением Кэт, а иногда даже дороже Кэт. Оно заменяло ему все высшие стремления и идеалы, увлекающие других людей. Он жаждал успеха, желал выдвинуться, но его стремления к личному благу совпадали со стремлениями к благу своего города. Он не мог достичь успеха в случае неудачи города, а в случае преуспевания города и его ожидает успех. Его честолюбие относительно Топаза, его прославление Топаза – все это был патриотизм, страстный и личный. Топаз – это его родная страна и потому, что она была близка и реальна, потому, что он мог наложить на нее свою руку, и, главное, потому, что он мог покупать и продавать куски земли в этой стране, это была более родная ему страна, чем Американские Соединенные Штаты, становившиеся его родной страной в военное время.

Он присутствовал при зарождении Топаза. Он знал город тогда, когда почти мог охватить его руками; он наблюдал за ним, лелеял, ласкал его; он пригвоздил к нему свое сердце при первом межевании и теперь знал, что нужно городу. Ему нужны «Три С.».

Кондуктор представил Тарвина и Шериффа президенту, когда привел их в отдельный вагон, а тот представил обоих своей молодой жене – двадцатилетней блондинке, вполне сознававшей свое положение хорошенькой новобрачной; Тарвин, со своей обычной прозорливостью, немедленно уселся рядом с ней. В вагоне кроме салона Салдона, в который провели Тарвина и Шериффа, были еще купе с обеих сторон. Все вместе являлось чудом уюта и удобства; украшения отличались утонченным изяществом. В салон-вагоне были мягкие плюшевые ковры несравненных оттенков, заглушавшие шум шагов; мерцала резная никелевая отделка, сверкали зеркала. Изысканная простота деревянных частей, отделанных в более современном стиле, еще более подчеркивала роскошь остального убранства.

Председатель находившейся еще в зародыше Центральной Колорадо-Калифорнийской железной дороги освободил место для Шериффа на одном из соломенных стульев, скинув кучу иллюстрированных журналов, и устремил из-под нависших густых бровей взгляд своих черных, похожих на бусы, глаз на Шериффа. Его тучное тело заполняло другой легкий стул. У него был нездоровый цвет лица и отвислый толстый подбородок хорошо пожившего человека лет пятидесяти. Он слушал оживленные доводы Шериффа, который немедленно пустился в разговор с угрюмым, ничего не выражавшим лицом, а Тарвин завел с миссис Мьютри разговор, не имевший никакого отношения к существованию железных дорог. Он знал все, что касалось свадьбы председателя, и заметил, что она очень охотно выслушивает его лестные отзывы об этом событии. Он осыпал ее комплиментами, сумел заставить ее рассказать о своем свадебном путешествии. Они заканчивали его и должны были поселиться в Денвере. Она не знала, понравится ли ей этот город. Тарвин заверил ее, что он понравится ей. Он гарантировал это; он раззолачивал и украшал Денвер для нее; он изображал его волшебным городом и населял его персонажами восточных сказок. Потом он принялся расхваливать магазины и театры. Он говорил, что они затмевают нью-йоркские, но ей следует посмотреть театр в Топазе. Он надеялся, что они остановятся в Топазе на денек-другой.

Тарвин не расхваливал Топаз так грубо, как Денвер. Ему удалось, однако, дать ей понять его особую прелесть и, когда ему удалось представить его как самый хорошенький, лучший и процветающий город на западе, он бросил этот предмет разговора. Большинство тем их беседы носило более личный характер. Тарвин направлял разговор то в одну, то в другую сторону, отыскивая сначала сочувственную струну, а затем и слабое место. Ему нужно было узнать, как лучше подействовать на нее. Таким путем – через нее – можно будет подействовать и на председателя. Он понял это, как только вошел в вагон. Он

знал ее историю и даже знал ее отца, который некогда держал гостиницу, где он останавливался, когда был в Омаге. Он расспрашивал ее о старом доме и сменился ли владелец с тех пор, как он был там. Кто хозяйничает там теперь? Он надеялся, что остался главный лакей. А повар? У него текли слюнки при одном воспоминании об этом поваре. Она дружелюбно рассмеялась. Ее детство прошло в гостинице. Она играла в залах и коридорах, барабанила на рояле в гостиной и истребляла леденцы в кладовой. Она знала этого повара – знала лично. Он давал ей лепешки, которые она брала с собой в постель. О, да! Он еще там.

В открытом, дружеском обращении Тарвина, в его склонности быть довольным и горячем желании доставить удовольствие другим было что-то заразительное, а его сердечное, дружественное отношение, открытый веселый взгляд, способность относиться ко всему смело, широко и уверенно невольно располагали к нему. Его беспристрастная любовь распространялась на весь род человеческий. Он был двоюродным братом всего человечества и братом каждого человека, который пожелал бы этого. Он вскоре оказался в отличных отношениях с миссис Мьютри, и она подозвала его к окну в конце вагона, чтобы он показывал ей виды Арканзаса. Вагон был последний, и через хорошо отполированное стекло путешественники смотрели на извивающуюся полосу удалявшегося железнодорожного полотна и на страшные стены грозных скал, подымавшихся по обе его стороны. Они опускались на пол, чтобы взглянуть на нависшие над ними утесы, и оглядывались назад на хаос высоко вздымавших гор, которые расступались, чтобы пропустить их, и смыкались, лишь только они удалялись. Поезд мчался, игнорируя нарушенную им красоту этого первобытного мира, чудесным образом удерживаясь на узком, как острие ножа, пространстве, отвоевывая его с одной стороны у реки, с другой – у горы. Иногда, когда поезд проносился по бесконечным изгибам пути, миссис Мьютри теряла равновесие и удерживалась на ногах, только ухватившись за Тарвина. Кончилось тем, что он взял ее под руку, и оба они стояли, покачиваясь в такт ходу поезда, причем Тарвин, расставив ноги, старался удержаться сам и удержать свою даму, между тем как оба смотрели на чудовищные вершины и царственные каменные утесы, которые, казалось, колебались над ними на головокружительной высоте.

Миссис Мьютри поминутно издавала восклицания удивления и восхищения; начинаясь с обычного восхищения женщины великими явлениями природы, они заканчивались испуганным шепотом. Развертывавшееся перед нею зрелище сдерживало и смиряло ее легкомысленную натуру точно так же, как присутствие смерти могло бы заставить ее умолкнуть. Машинально и наполовину искренне пускала она в ход кокетство и маленькие уловки, пока, наконец, поезд не

выбрался из ущелья; тогда она вздохнула с облегчением и, живо овладев Тарвином, заставила его вернуться в салон. Там они опять расположились на стульях, которые покинули. Шерифф продолжал распространяться о преимуществах Топаза, председатель не слушал его и смотрел в окно. Мьютри, с видом смущенного людоеда, посмотрел на жену, которая погладила его по спине и доверчиво шепнула ему что-то на ухо. Она бросилась на свое прежнее место и приказала Тарвину развлекать ее. Тарвин охотно рассказал ей про экспедицию, в которой он однажды побывал. Он не нашел того, что искал – серебра, – но видел довольно редкие аметисты.

– О, неужели! Что вы за восхитительный человек! Аметисты! Настоящие аметисты? Я не знала, что в Колорадо можно найти аметисты.

Странный свет – страсти и желания – мелькнул в ее глазах. Тарвин сейчас же ухватился за этот взгляд. Не это ли ее слабая сторона? Если так – он многое знал о драгоценных камнях. Ведь они же составляли часть естественных богатств страны вокруг Топаза. Он мог разговаривать о драгоценных камнях хоть целый день, пока коровы не вернутся домой. Но повлияет ли это на прокладку железной дороги в Топаз? У него мелькнула дикая мысль поставить на обсуждение в промышленном совете вопрос о необходимости поздравления по случаю бракосочетания председателя и поднесения советом бриллиантовой диадемы новобрачной, но он быстро отбросил эту мысль. Подобного рода общественные подношения не помогут Топазу. Это должно быть делом частной дипломатии, старательной, утонченной чуткости, спокойной, дружелюбной обработки, тонкого такта – дотронуться здесь, дотронуться там, а потом сразу схватить – одним словом, делом Никласа Тарвина, и никого другого на свете. Он видел себя проводящим дорогу в Топаз великолепным, царственным, неожиданным образом и укрепляющим ее той же – его, Тарвина – силой, без посторонней помощи; он видел себя создателем будущего любимого города. Он видел Рестлер во прахе, а владельца двадцати акров земли в Топазе – миллионером.

На одно мгновение он с любовью остановился на мысли об этих двадцати акрах; деньги, на которые он купил их, достались ему нелегко; а дело, по здравом размышлении, всегда дело. Но его владения и план продать часть этой земли железнодорожной компании, когда пройдет дорога, а остальное, участками, городу, были только незначащими звуками в общей симфонии. Все его мечты сосредоточились на Топазе.

Взглянув на руки миссис Мьютри, он заметил, что она носит необыкновенные кольца. Они были немногочисленны, но с чудесными камнями. Он высказал свое восхищение при виде громадного солитера на ее левой руке. Она сняла кольцо, чтобы показать ему. Она рассказала историю этого бриллианта. Ее отец купил его у одного актера-трагика, которому не повезло в Омаге после того, как он играл перед пустыми залами в Денвере, Топеке, Канзас-Сити и Сент-Джо. На вырученные за кольцо деньги труппа оплатила проезд в Нью-Йорк – единственное благо, которое принес камень своим многочисленным владельцам. Трагик выиграл его у одного игрока, который во время ссоры убил прежнего владельца камня, а человек, умерший из-за бриллианта, приобрел его по дешевой цене у приказчика, сбежавшего от торговца бриллиантами.

– Недоставало только, чтоб его похитили у того человека, который нашел его в копях, – сказала она. – Как вы думаете, мистер Тарвин?

Все свои вопросы она задавала, подняв брови и с очаровательной улыбкой, требовавшей немедленного утвердительного ответа Тарвина. Он был бы согласен с гипотезой, отвергающей открытия Галилея и Ньютона, если бы миссис Мьютри подняла этот вопрос в данную минуту. Он сидел неподвижно и вытянувшись, весь занятый своей идеей, наблюдая и насторожившись, словно собака на стойке.

– Иногда я всматриваюсь в него, не увижу ли картин преступления, виденных им, – говорила миссис Мьютри. – Они такие интересные и приводят в дрожь, не правда ли, мистер Тарвин? В особенности убийство. Но больше всего мне нравится сам камень. Не правда ли, что за красота? Папа говорил, что он никогда не видел более красивого, а ведь в гостинице, вы знаете, можно видеть массу хороших бриллиантов. – Одно мгновение она любовно всматривалась в прозрачную глубину бриллианта. – О, нет ничего красивее камня – ничего! – прошептала она. Глаза ее вспыхнули. В первый раз он услышал в звуке ее голоса оттенок полной бессознательной искренности. – Я могла бы вечно смотреть на чудесный камень; мне все равно, какой бы он ни был, только бы замечательно красивый. Па знал, как я люблю камни, и постоянно покупал их у посетителей. Странствующие приказчики – молодцы относительно камней, но они не всегда умеют отличать хорошие от плохих. Па удавалось иногда делать удачные покупки, – продолжала она, задумчиво поджимая губы, – он всегда покупал только самое лучшее, а потом, когда было можно, выторговывал что-нибудь еще лучшее. Он всегда давал два или три камня с ничтожными недостатками за один, действительно хороший. Он знал, что я люблю только такие камни. О, как

я люблю их! Они лучше людей. Они всегда с вами и всегда одинаково прекрасны!

– Мне кажется, я знаю ожерелье, которое понравилось бы вам, если вы любите подобные вещи, – спокойно проговорил Тарвин.

– В самом деле? – с сияющей улыбкой проговорила она. – О, где оно?

– Далеко отсюда.

– О, где-нибудь в Лондоне, – презрительно сказала она. – Знаю я вас! – прибавила она прежним тоном.

– Нет. Дальше.

– Где?

– В Индии.

Некоторое время она с интересом смотрела на него.

– Скажите мне, каково оно? – сказала она. Вид, голос – все изменилось у нее. Очевидно, это был единственный предмет, к которому она могла относиться серьезно. – Действительно оно хорошее?

– Самое лучшее, – сказал Тарвин и остановился.

– Ну! – вскрикнула она. – Не мучьте меня. Из чего оно сделано?

– Из бриллиантов, жемчуга, рубинов, опалов, бирюзы, аметистов, сапфиров – целые ряды. Рубины величиной с ваш кулак; бриллианты величиной с куриное яйцо. Это – царский убор.

У нее перехватило дыхание. Через некоторое время она глубоко вздохнула, а затем пробормотала: «О!» – протяжно, с удивлением, со страстным желанием.

– А где оно? – быстро проговорила она.

– На шее одного идола в провинции Раджпутана. Вам хочется иметь его? – сурово спросил он.

Она засмеялась.

– Да, – ответила она.

– Я достану его вам, – просто сказал Тарвин.

– Да? Неужели? – надув губки, проговорила она.

– Я достану, – повторил Тарвин.

Она откинула свою веселую, белокурую голову и засмеялась, смотря на купидонов, нарисованных на потолке вагона. Она всегда откидывала голову, когда смеялась: тогда видна была ее шея.

IV

Председатель занял комнаты в гостинице у железнодорожного полотна в Топазе и остался на следующий день. Тарвин и Шерифф завладели им и показывали ему город и то, что они называли его «естественными богатствами».

Тарвин отвез председателя за город, заставил его остановиться среди открытой равнины, перед покрытыми снегом вершинами гор, и завел там речь о разумности и необходимости сделать Топаз конечным пунктом нового железнодорожного участка и поместить тут начальника участка, мастерские и центральное депо.

Он чувствовал, что председатель против того, чтобы довести вообще железнодорожную линию до Топаза, но предпочитал запрашивать больше, чтобы добиться хотя бы небольших результатов. Конечно, легче было доказать,

что Топаз может служить железнодорожным узлом и конечным пунктом участка дороги, чем убедить, что он должен быть станцией на главном пути. Уж если быть ему чем-нибудь, то железнодорожным узлом. Трудность состояла в том, чтобы доказать необходимость проведения этой линии.

Тарвин знал положение Топаза так же хорошо, как таблицу умножения. Не напрасно же был он президентом промышленного совета и главой комиссии по благоустройству города с основным капиталом в две тысячи долларов. Общество Тарвина включало в себя всех солидных людей города; ему принадлежала вся открытая местность от Топаза до подножия гор; оно провело тут улицы, аллеи и устроило общественные сады. Все это можно было видеть на карте, висевшей в канцелярии общества, помещавшейся на Коннектикутской аллее; мебель в этой канцелярии была из дуба, полы – мозаичные, покрытые турецкими коврами, драпировки – шелковые. Там можно было покупать участки земли внутри города на протяжении двух миль; действительно, у Тарвина там было несколько участков на продажу. Привычка продавать научила его знать все, что можно было сказать дурного и хорошего об этих местах; и он знал до точности, во что можно заставить поверить каждого человека.

Например, он знал, что в окрестностях Рестлера не только существуют копи, гораздо более богатые, чем в Топазе, но что позади него лежит рудоносная область, совершенно неисследованная и хранящая баснословные богатства; он знал, что и председатель знает это. Совершенно так же хорошо ему было известно, например, что копи вокруг Топаза не плохие, но не представляют собой ничего замечательного в округе, славящемся минеральными богатствами, и что хотя город лежал в обширной, хорошо орошенной долине и среди превосходных пастбищ, но особых преимуществ не имел. Другими словами, естественные богатства Топаза не были настолько велики, чтобы он мог иметь притязание стать «важным железнодорожным центром», как это хотелось бы ему.

Так говорил он, но не так думал.

Втайне он говорил себе, что Топаз создан для того, чтобы быть железнодорожным городом, а поэтому надо сделать его железнодорожным городом. Это положение, которое нельзя было подвести ни под какую логическую систему, развивалось по самой здравой системе рассуждения. А именно: Топаза нет. Топаз – только надежда. Очень хорошо! А когда кто-нибудь на западе захочет осуществить такие надежды, то что он делает? Ну, конечно,

заставляет верить других. Топаз не имеет цены без железнодорожной компании. Какую же ценность представляет он для компании? Очевидно, ту, которую она придаст ему.

Тарвин обещал председателю следующее: если он даст им шанс, они окажутся достойными этого; и он доказывал, что, в сущности, это все, что может сказать о себе любой город. Председателю предоставлялось право судить, который из городов является достойнее – Топаз или Рестлер, и Тарвин доказывал, что тут не может быть вопроса.

– Когда приходится сравнивать города, – говорил он, – то надо считаться с характером жителей. В Рестлере все мертвы – мертвы и похоронены. Это всем известно: там нет ни торговли, ни промышленности, ни жизни, ни энергии, ни денег. А взгляните на Топаз! Председатель может сразу увидеть характер его обитателей, если пройдется по улицам. Тут все смотрят в оба. Все думают о деле. Они верят в свой город и готовы тратить на него свои деньги. Председателю следует только сказать, чего он ждет от них.

Потом он сообщил свой план насчет привлечения одного из плавильных заводов в Денвере к созданию большого филиала в Топазе; он говорил, что у него в кармане имеется уже согласие правления одного из заводов при условии, что железная дорога пойдет в эту сторону. Компания не может заключить такой сделки с Рестлером; он знает это. Прежде всего, у Рестлера нет сырья. Плавильщики приезжали из Денвера за счет Топаза и подтвердили сведения Топаза, что Рестлер не может найти необходимого материала для плавления своей руды ближе чем в пятнадцати милях расстояния от своих границ, – другими словами, не может найти по эту сторону Топаза.

Тарвин говорил, что Топаз нуждается в вывозе своих продуктов в Мексиканский залив, и Центральная дорога Колорадо – Калифорния могла бы дать им туда выход.

Вероятно, председателю доводилось уже слышать подобные доводы, потому что это кристальное, абсолютное нахальство не вызвало никакого возражения с его стороны. Он, по-видимому, выслушивал доводы Тарвина, как и всякие другие, представляемые ему, пропуская их мимо ушей. Председатель железной дороги, взвешивавший преимущества городов-соперников, счел бы нарушением своего достоинства спросить, какие продукты Топаза могут идти через залив. Но если бы Мьютри предложил этот вопрос, Тарвин, не краснея, ответил бы: «Продукты

Рестлера». Он ясно намекнул об этом в предложении, которое немедленно сделал в виде уступки.

– Конечно, – сказал он, – если бы дорога пожелала воспользоваться минеральными богатствами области за Рестлером, легко было бы провести ветвь туда и доставить руду, чтобы плавить ее в Топазе. Рестлер представляет собой ценность для железной дороги как центр копей. Он не намерен оспаривать этого. Но «минеральная» дорога будет доставлять всю руду так же, как и главная линия будет провозить ее по тому же тарифу и удовлетворит все справедливые требования Рестлера, причем соединительная линия пройдет там, где ей следует быть по ее естественному положению.

Он смело спросил председателя, как он рассчитывает устроить подъем на гору, если думает сделать Рестлер конечным пунктом участка и менять там паровозы. Тяжелый подъем, по которому должна будет пройти железная дорога при выезде из города, начинающийся в самом городе, исключает всякую мысль о том, чтобы сделать его конечным пунктом участка. Если бы, по счастью, паровозы и не застряли на подъеме, то что он думает насчет годовых издержек на ежедневный проезд тяжелых вагонов на высокую гору, по крутому склону? Для конца участка и последней остановки перед подъездом для линии Центральной Колорадо-Калифорнийской железной дороги нужно такое место, как Топаз, предназначенное самой природой, выстроенное в центре равнины, по которой поезд мог бы идти пять миль, прежде чем начать подъем на горы.

На этом пункте Тарвин настаивал с пылом и убедительностью человека, имеющего дело с точным, неопровержимым фактом. Это был действительно лучший его аргумент, и он подумал это, когда председатель молча взял опущенный было повод и повернул назад к городу. Но, взглянув на лицо Мьютри, он убедился, что потерпел полную неудачу в главном вопросе. Эта неудача могла бы привести его в отчаяние, если бы он не ожидал ее. Успеха следовало ждать в другом месте, но сначала он решил использовать все средства.

Глаза Тарвина с любовью покоились на его городе, когда они повернули лошадей к группе построек, в беспорядке разбросанных посреди обширной равнины. Он, город, может быть уверен, что Тарвин постоит за него.

Конечно, Топаз – предмет его любви – совершенно растворялся в действительном Топазе, отличаясь теми оттенками и тонкостями, которые не поддавались никакому измерению. Отношение настоящего Топаза к Топазу

Тарвина или к Топазу всякого местного доброго гражданина было таково, что ни один дружески настроенный наблюдатель не стал бы распространяться о нем. И про самого Тарвина невозможно было сказать, где кончается его действительная уверенность и начинается желание верить. Он знал только, что верит; и для него лучшее основание веры состояло в том, что Топаз нуждался в том, чтобы в него твердо верили.

На привыкший к порядку восточный взгляд, город показался бы грубым, неопрятным, пустынным собранием жалких деревянных строений, расползавшихся по гладкой равнине. Но это было только лишним доказательством, что всякий видит только то, что желает видеть. Не таким видел город Тарвин; и не поблагодарил бы он жителя востока, который вздумал бы найти выход в похвале белоснежных гор, замыкавших долину громадным кругом. Житель востока мог оставаться верен своему взгляду, что Топаз только портит прекрасную картину. Для Тарвина картина была только декорация Топаза, а декорацией – только одна из подробностей Топаза. Это было одно из его естественных преимуществ, подобно климату, местоположению и промышленному совету.

Во время поездки он называл председателю самые высокие вершины; он указывал, где их большой ирригационный канал спускал воду с вершин, где он проходил под тенью предгорий, пока не направлялся по равнине к Топазу; он сообщил ему число пациентов в госпитале, прилично уменьшая их количество, как доказательство процветания города. Когда они въехали в город, он показал оперный театр, почтовое отделение, городскую школу и здание суда со скромной гордостью матери, показывающей своего первенца.

Он ничего не пропускал, стараясь, с одной стороны, заглушить свои мысли, с другой – доказать председателю все преимущества Топаза. Во время его красноречивой защиты ему слышался другой голос, и теперь, сознавая неудачу, горечь другой неудачи охватила его с еще большей силой. Со времени своего приезда он виделся с Кэт и узнал, что за исключением чуда ничто не может помешать ее отъезду в Индию через три дня. Презирая человека, допускающего чудо, в гневе и отчаянии, он наконец обратился прямо к Шериффу, моля его всем, что дорого ему, предотвратить это безумие.

Но бывают же такие мямли! Шерифф, несмотря на все свое желание угодить, никак не мог набраться сил, хотя Тарвин и предлагал ему все свои. Его разговор с Кэт в сочетании с безрезультатным разговором с ее отцом оставил в нем

болезненное чувство беспомощности, избавить от которого его мог только большой успех в другом направлении. Он жаждал успеха, и атака на председателя облегчила его душу, хотя он и предвидел неудачу.

Он мог забыть о существовании Кэт, сражаясь за Топаз, но с тоской вспомнил о ней, когда расстался с Мьютри. Она обещала ему участвовать в поездке к «Горячим Ключам», которую он устраивал в этот день после полудня; не будь этого, он, пожалуй, предоставил бы Топаз своей судьбе на все время дальнейшего пребывания председателя. Теперь он смотрел на это посещение «Ключей», как на последнюю надежду. Он решил в последний раз обратиться к Кэт; он решил переговорить с Кэт обстоятельно, так как не мог поверить в поражение и не думал, что она уедет.

Экскурсия к «Горячим Ключам» была задумана с целью показать в случае, если ничто другое не удастся, председателю и миссис Мьютри, какое будущее может ожидать Топаз как зимнюю резиденцию. Они согласились принять участие в поездке, поспешно организованной Тарвином. С целью поговорить с Кэт он кроме Шериффа пригласил трех господ: Максима, почтмейстера, Хеклера, издателя «Телеграмм Топаза» (оба они были его коллегами по промышленному совету), и симпатичного молодого англичанина по имени Карматан. Он рассчитывал, что они поговорят с председателем и дадут ему самому возможность поговорить с полчасика с Кэт, без ущерба для впечатления, произведенного Топазом на Мьютри. Ему пришло на ум, что председатель, может быть, пожелает еще раз взглянуть на город, а Хеклер как раз такой человек, который сумеет показать его.

Карматан появился в Топазе два года тому назад в качестве младшего сына, считавшего своей миссией колонизировать край, вооруженный хлыстом, высокими сапогами и двумя тысячами долларов. Деньги он потерял, но зато узнал, что хлысты не употребляются, когда гоняют стада, и в настоящее время применял это свое знание, вместе с другими вновь приобретенными познаниями, служа ковбоем. Он зарабатывал по 30 долларов в месяц и относился к своей судьбе с философским спокойствием, свойственным как приемным, так и прирожденным гражданам запада. Кэт он нравился за гордость и смелость, которые не позволяли ему прибегнуть к легкому способу помочь своей судьбе – написать домой и т. д. В первую половину поездки к «Горячим Ключам» они ехали рядом, и Тарвин указывал мистеру и миссис Мьютри на каменистые вершины, среди которых им приходилось ехать. Он показывал им копи, уходившие далеко в глубь скал, и объяснял их геологическое строение с чисто

практической ученостью человека, покупающего и продающего копи. Дорога, параллельная проходившей через Топаз, то приближалась, то удалялась, как говорил Тарвин, под прямым углом от той, которую впоследствии выберет компания «Центральные линии Колорадо – Калифорния». Один раз мимо них проехал поезд, с трудом подымаясь по крутому склону, ведшему к городу. Горы образовывали узкий проход, потом, снова расширяясь, собирались в большие цепи утесов, глядевших друг на друга через пропасть. Ряд живописных гор над головами путников поднимался странными сучковатыми утесами или внезапно опускался и выплывал устремленными вверх остриями; но по большей части перед ними была просто стена – синяя, коричневая и пурпурно-красная, цвета умбры, охры, с нежными оттенками.

Тарвин отстал и поехал рядом с лошадью Кэт. Карматан, с которым он был в дружеских отношениях, сейчас же уступил ему место и поехал догонять остальных.

Она подняла на него свои выразительные глаза и безмолвно просила избавить обоих от продолжения бесполезного спора. Но Тарвин сжал челюсти – он не послушался бы и голоса ангела.

– Я утомляю вас своими разговорами, Кэт. Я знаю это. Но я должен говорить. Я должен спасти вас.

– Не пробуйте больше, Ник, – кротко ответила она. – Пожалуйста, не пробуйте. Мое спасение в этой поездке. Это единственное мое желание. Иногда, когда я думаю об этом, мне кажется, что, может быть, затем я послана на свет. Все мы посылаемся на свет, чтобы делать дело, хотя бы самое маленькое, смиренное, ничего не значащее. Как вы думаете, Ник? Я должна делать свое дело, Ник. Помогите мне.

– Пусть, пусть меня разобьют на куски молотком, если я сделаю это! Я затрудню вам выполнение дела. Я здесь для этого. Все подчиняются вашей злой воле. Ваши родители позволяют вам делать, что вы желаете. Они и не подозревают, куда вы суете вашу драгоценную голову. Я не могу поставить ее на место. А вы можете. Это заставляет меня решиться. И делает меня отвратительным.

Кэт рассмеялась.

– Да, делает отвратительным, Ник. Но мне все равно. Я думаю даже, что мне нравится, что вы так тревожитесь. Если бы я осталась дома, то только ради вас. Вы верите этому?

– О, буду верить и благодарю вас! Но что принесет это мне? Мне нужна не вера, мне нужны вы.

– Я знаю, Ник. Я знаю. Но Индия больше нуждается во мне, то есть не во мне, а в том, что я могу сделать и что могут сделать подобные мне женщины. Оттуда издали доносится призыв: «Придите и помогите нам!» Пока я слышу этот призыв, я не могу найти удовольствия ни в чем другом. Я могла бы быть вашей женой, Ник. Это легко. Но с этим призывом в ушах я мучилась бы каждую минуту.

– Это жестоко по отношению ко мне, – проговорил Тарвин, печально смотря на возвышавшиеся над ними утесы.

– О, нет. Это не имеет никакого отношения к вам.

– Да, – возразил он, поджимая губы, – вот именно.

Она не могла скрыть улыбки при взгляде на его лицо.

– Я никогда не выйду замуж ни за кого другого, если вам приятно знать это, Ник, – сказала она с внезапной нежностью в голосе.

– Но вы не выйдете и за меня?

– Нет, – спокойно, твердо, просто сказала она.

Одно мгновение он с горечью обдумывал этот ответ. Они ехали шагом, и он опустил поводья на шею пони, говоря:

– Хорошо. Дело не во мне. Тут говорит не один эгоизм, дорогая. Конечно, мне хочется, чтобы вы остались ради меня, я хочу, чтобы вы были моей, совсем моей; я хочу иметь всегда вас рядом со мной; вы нужны мне – нужны; но не потому я прошу вас остаться, а потому, что не могу подумать, как броситесь вы, одинокая,

беззащитная девушка, во все опасности и ужасы этой жизни. Я не могу спать по ночам, думая об этом. Я не смею думать. Это чудовищно, отвратительно, нелепо! Вы не сделаете этого!

– Я не должна думать о себе, – ответила она дрожащим голосом. – Я должна думать о них.

– Но я-то должен думать о вас. И вы не подкупите меня, не соблазните думать о ком-либо другом. Вы принимаете все это слишком близко к сердцу. Дорогая моя, – прибавил он умоляющим тоном, понизив голос, – неужели вы должны заботиться о несчастьях всего мира? Несчастье и горе встречаются повсюду. Разве вы можете прекратить их? Вам, во всяком случае, придется всю жизнь жить со стонами страданий миллионов в ушах. Мы все осуждены на это. Мы не можем уйти. Мы платим за смелость быть счастливыми хоть одну короткую секунду.

– Я знаю, я знаю. Я не пробую спастись. Я не пробую заглушить этот звук.

– Да, но вы пробуете остановить его и не можете. Это все равно, что вычерпать океан ведром. Вы не можете сделать этого. Но можете испортить себе жизнь этими попытками: и если у вас есть какой-нибудь план, как возвратиться и снова начать испорченную жизнь, я знаю человека, который не сможет сделать этого. О, Кэт, я ничего не прошу для себя – я не о себе одном хлопочу, – но вспомните иногда, на мгновение, об этом, когда будете обнимать весь мир и пробовать поднять его вашими нежными ручками – вы портите не одну свою жизнь. Черт возьми, Кэт, если вам нужно облегчить чье-нибудь несчастье, вам ни к чему идти по этому пути. Начните с меня.

Она печально покачала головой.

– Я должна начать там, где велит мой долг, Ник. Я не говорю, что смогу уменьшить огромную сумму человеческих страданий, и не говорю, чтобы всякий делал то, что я постараюсь делать; но так должно быть. Я знаю это и знаю, что это все, что все мы можем сделать. О, быть уверенной, что людям несколько – хотя бы очень мало – станет лучше оттого, что ты жил, – вскрикнула она, и восторженное выражение появилось в ее взгляде, – знать, что хоть крошечку облегчишь горе и страдания, которые все равно будут продолжаться, – и то было бы хорошо! Даже вы должны чувствовать это, Ник, – сказала она, нежно

дотрагиваясь рукой до его руки.

Тарвин сжал губы.

– О, да, я чувствую это, – с отчаянием проговорил он.

– Но вы чувствуете и другое. Я также.

– Так чувствуйте сильнее. Чувствуйте настолько, чтобы довериться мне. Я устрою ваше будущее. Вы будете благословенны всеми за вашу доброту. Неужели вы думаете, я любил бы вас без нее? И вы начнете с того, что заставите меня благословлять вас.

– Я не могу! Я не могу! – в отчаянии крикнула она.

– Вы не можете сделать ничего другого. Вы должны наконец прийти ко мне. Неужели вы думаете, что я мог бы жить, если бы не думал этого? Но я хочу спасти вас от всего, что лежит между нами. Я не хочу, чтобы вас загнали в мои объятия, девочка. Я желаю, чтобы вы пришли сами – и сейчас же.

В ответ она только опустила голову на рукав амазонки и тихо заплакала.

Пальцы Ника сжали руку, которой она нервно ухватилась за луку седла.

– Вы не можете, дорогая?

Она яростно потрясла темной головкой.

– Хорошо, не тревожьтесь.

Он взял ее податливую руку в свою и заговорил нежно, как говорил бы с ребенком, у которого горе. В течение недолгого безмолвия Тарвин отказался – не от Кэт, не от своей любви, но от борьбы против ее отъезда в Индию. Она может ехать, если желает. Их будет двое.

Когда они доехали до «Горячих Ключей», он немедленно воспользовался случаем заговорить с ничего не имевшей против этого миссис Мьютри и удалился с ней в сторону, между тем как Шерифф показывал председателю подымавшиеся из-под земли клубы пара и фонтаны воды, ванны и место, где предполагалась постройка гигантской гостиницы. Кэт, желавшая скрыть свои покрасневшие глаза от зоркого взгляда миссис Мьютри, осталась со своим отцом.

Когда Тарвин привел жену председателя к потоку, который низвергался мимо «Ключей», чтобы найти себе наконец могилу внизу, он остановился в тени группы виргинских тополей.

– Вам действительно нужно это ожерелье? – отрывисто спросил он.

Она снова весело засмеялась своим журчащим смехом, несколько театральным, как это было свойственно ей.

– Нужно? – повторила она. – Конечно, нужно! Мне нужно достать и луну с неба.

Тарвин положил руку на ее руку, чтобы заставить ее умолкнуть.

– Оно будет у вас, – решительно сказал он.

Она перестала смеяться и побледнела, видя, что он говорит совершенно серьезно.

– Что вы хотите этим сказать? – поспешно проговорила она.

– Вам это было бы приятно? Вы были бы рады? – спросил он. – Что бы вы сделали для того, чтобы получить его?

– Вернулась бы в Омагу на четвереньках! – так же горячо ответила она. – Поползла бы в Индию.

– Отлично, – решительно сказал он. – Вопрос решен. Слушайте! Мне нужно, чтобы Центральная Колорадо-Калифорнийская железная дорога прошла в Топаз. Вам нужно ожерелье. Можем мы заключить торговую сделку?

– Но вы не…

– Ничего не значит; я позабочусь о своей доле. Можете вы сделать то же?

– Вы хотите сказать… – начала она.

– Да, – решительно кивнул он головой, – я думаю так. Можете вы устроить это?

Тарвин, употребляя все силы, чтобы владеть собой, стоял перед ней со стиснутыми зубами; ногти одной из его рук сильно впились в ладонь другой. Он ждал ответа.

Она склонила набок свою хорошенькую головку с умоляющим видом и искоса, вызывающе смотрела на него долгим взглядом, как бы желая продлить его мучения.

– Я думаю, я знаю, что сказать Джиму, – наконец проговорила она с мечтательной улыбкой.

– Значит, соглашение заключено?

– Да, – ответила она.

– Так по рукам.

Они подали друг другу руки. Одно мгновение они стояли, пристально вглядываясь друг другу в глаза.

– Вы в самом деле достанете его для меня?

– Да.

– Вы не нарушите своего слова?

– Нет.

Он так пожал ей руку, что она слегка вскрикнула.

– Ух!.. Вы сделали мне больно.

– Хорошо, – хрипло проговорил он, отпуская ее руку. – Договор заключен, завтра я отправляюсь в Индию.

V

Тарвин стоял на платформе станции Равутской железнодорожной ветки, глядя вслед облаку пыли, поднимавшемуся за бомбейским дилижансом. Когда оно исчезло, разгоряченный воздух над каменной платформой снова начал свой танец, и Тарвин, мигая, вернулся сознанием в Индию.

Замечательно просто проехать четырнадцать тысяч миль. Некоторое время он лежал спокойно в каюте парохода, а затем перешел в вагон, чтобы разлечься во всю длину без верхней одежды на обитой кожей скамейке поезда, который привез его из Калькутты на станцию Равутской железнодорожной ветки. Дорога была длинной только потому, что мешала ему увидеть Кэт и наполняла его мыслями о ней. Но неужели он приехал ради этого – для наводящей уныние Раджпутанской пустыни и ради уходящего узкого железнодорожного полотна? Топаз был уютнее, когда они построили церковь, гостиницу, клуб и три дома; пустынный пейзаж заставил его вздрогнуть. Он видел, что здесь не намереваются делать ничего больше. Новое уныние удваивало прежнее, потому что имело под собой почву. Оно было окончательно, преднамеренно, абсолютно. Угрюмая солидность станционного дома, высеченного из камня, солидная каменная пустая платформа, математическая точность названия станции – все это не говорило о будущем, никакая новая железная дорога не могла помочь Равутской железнодорожной ветке. У нее не было честолюбия. Она принадлежала правительству. Всюду, куда ни устремлялся взгляд, не было видно ничего зеленого, никакой изломанной линии, ничего живого. Вьющиеся мальвы на станции погибли от недостатка внимания.

Здоровое, человеческое негодование спасло Тарвина от более сильных мук тоски по родине. Толстый смуглый человек в белой одежде с черной бархатной фуражкой на голове вышел из здания. Этот начальник станции, составлявший

постоянное население Равутской железнодорожной линии, принял Тарвина, как часть пейзажа: он не взглянул на него. Тарвин почувствовал прилив симпатии к югу во время восстания.

– Когда идет следующий поезд на Ратор? – спросил он.

– Поезда нет, – ответил начальник станции с паузами между словами. Он посылал свою речь в воздух как бы независимо от себя, словно фонограф.

– Нет поезда? Где ваше расписание? Где ваш дорожный путеводитель? Где ваш указатель?

– Никакого поезда.

– Так зачем же, черт возьми, вы здесь?

– Сэр, я смотритель этой станции; при обращении к служащим не следует употреблять неприличных выражений.

– О, вы – станционный смотритель? Не так ли? Видите ли, друг мой, станционный смотритель, если желаете сохранить себе жизнь, то должны сказать мне, как добраться до Ратора, и побыстрее!

Он молчал.

– Ну что же мне делать? – восклицал Запад.

– Откуда я знаю? – отвечал Восток.

Тарвин пристально оглядел смуглое существо в белой одежде, в сапогах из белой патентованной кожи, в ажурных чулках, из которых выпирали толстые ноги, и в черной бархатной шапочке на голове. Бесстрастный взгляд жителя Востока, заимствованный им у пурпурных гор, подымавшихся за его станцией, заставил Тарвина на одно безбожное мгновение потерять веру в себя и силу духа и подумать, достойны ли Топаз и Кэт того, во что они обходятся.

– Билет, пожалуйста, – сказал бабу.

Мрак усиливался. Этот предмет был здесь, чтобы требовать билеты, и делал это, хотя бы люди любили, дрались, приходили в отчаяние и умирали у его ног.

– Эй, ты, – крикнул Тарвин, – обманщик со сверкающими носками, алебастровый столб с агатовыми глазами…

Он не мог продолжать; слова его замерли в крике ярости и отчаяния. Пустыня все поглотила безразлично; и бабу, повернувшись со страшным спокойствием, вплыл в дверь станционного дома и запер ее за собой.

Тарвин, подняв брови, убедительно свистнул у двери, побрякивая в кармане американской монетой о рупию. Окошечко билетной кассы приотворилось, и бабу показал дюйм своего бесстрастного лица.

– Говорю теперь в качестве официального лица – ваша честь может ехать в Ратор в местном экипаже.

– Найдите мне этот экипаж! – сказал Тарвин.

– Ваша честь заплатит за комиссию?

– Конечно! – Тон этого ответа передал мысль голове под шапочкой. Окошко закрылось. Потом – но не слишком скоро – послышался протяжный вой – вой усталого колдуна, призывающего запоздавший призрак.

– О, Моти! Моти! О-о!

– А вот и Моти! – пробормотал Тарвин, перескакивая через низкую каменную стену с саквояжем в руках и выходя через турникет в Раджпутану.

Его обычная веселость и уверенность вернулись к нему вместе с возможностью двигаться.

Между ним и пурпурным кольцом гор тянулось пятнадцать миль бесплодной, холмистой местности, изредка пересекаемой скалами кирпичного цвета и деревьями, засохшими, запыленными и бесцветными, как выцветшие под

солнцем прерий волосы ребенка. Вправо, вдали, виднелось серебряное мерцание соленого озера и бесформенная синяя дымка более густого леса. Мрачный, печальный, давящий, увядающий под раскаленным солнцем, он поразил его сходством с его родными прериями и вместе с тем чуждым видом, вызывающим тоску по родине.

По-видимому, из расщелины земли – в сущности, как он разглядел впоследствии, из того места, где среди двух сходившихся волн равнины ютилась деревня, – показался столб пыли, центр которого составляла повозка, запряженная волами. Отдаленный визг колес усиливался по мере приближения и перешел в громкий скрип и шум, знакомый Тарвину: такой шум слышался, когда внезапно тормозил товарный поезд, спускавшийся со склона горы в Топаз. Но здесь скрипели особой формы колеса не виданного никогда Тарвином экипажа, кузов которого был сделан из веревок, сплетенных из волокон кокосового ореха.

Повозка подъехала к станции; волы, после непродолжительного созерцания Тарвина, легли на землю. Тарвин сел на свой саквояж, опустил лохматую голову на руки и разразился хохотом необузданной веселости.

– Ну, начинайте! – крикнул он бабу. – Говорите свою цену. Я не тороплюсь.

Тут началась такая сцена, полная шума и декламации, по сравнению с которой показалась бы ничтожной ссора в игорном доме.

Безжизненность станционного смотрителя покинула его, словно одежда, унесенная порывом ветра. Он взывал, жестикулировал и ругался; возница, нагой, за исключением куска синей материи на бедрах, не отставал от него. Они указывали на Тарвина, они, по-видимому, обсуждали факт его рождения и предков; быть может, они прикидывали его вес! Иногда они, казалось, были уже на пороге дружелюбного разрешения вопроса, как вдруг он подымался снова, и они возвращались к началу и принимались за новую классификацию Тарвина и его путешествия.

В продолжение первых десяти минут Тарвин аплодировал обеим сторонам, беспристрастно натравливая их друг на друга. Потом он стал уговаривать их прекратить спор, а когда они не согласились, стал, в свою очередь, ругаться. Возница выдохся на одно мгновение, и бабу внезапно набросился на Тарвина, ухватился за его руку и принялся громко кричать на ломаном английском языке:

– Все устроено, сэр! Все устроено! Этот человек – чрезвычайно невоспитанный человек, сэр. Дадите мне денег, я устрою все.

С быстротой молнии возница поймал другую руку Тарвина и умолял его на каком-то странном языке не слушать его противника. Тарвин отступил; они преследовали его с поднятыми в знак мольбы и увещевания вверх руками. Начальник станции забыл об английском языке, а возница об уважении к белому. Тарвин увернулся от обоих, бросил свой саквояж в повозку, вскочил в нее и крикнул единственное знакомое ему индийское слово. На его счастье, это оказалось словом, двигающим всю Индию: «Чалло!» – что в переводе означает: «Вперед!»

Так, оставив за собой споры и отчаяние, Никлас Тарвин из Топаза, Колорадо, выехал в Раджпутанскую пустыню.

VI

Бывают обстоятельства, когда вечность – ничто перед четырьмя днями. Таковы были обстоятельства, при которых Тарвин выполз из повозки через девяносто шесть часов после того, как волы появились среди облаков пыли перед станцией Равутской ветки. Они – эти часы – тянулись позади него сводящей с ума, скрипучей, пыльной, медленной процессией. В час повозка делала две с половиною мили. Состояния приобретались и терялись в Топазе – счастливый Топаз! – пока повозка прокладывала себе путь по раскаленному речному руслу, заключенному среди двух стен песка. Новые города могли бы вырасти на западе и превратиться в развалины более древние, чем Фивы, пока, после обеда на дороге, возница возился с трубкой, справиться с которой для него было не легче, чем с ружьем. Во время этих и других остановок – Тарвину казалось, что путешествие состояло главным образом из остановок – он чувствовал, что всякий гражданин мужского пола в Соединенных Штатах обгоняет его в скачке жизни, и стонал от сознания, что он никогда не догонит их и не возместит потерянного времени.

Большие серые журавли с ярко-красными головами величественно проходили по высокой траве болот и прятались в ущелья гор, как в карманы. Кулики и перепелки лениво взлетали из-под носа волов, а однажды на заре Тарвин, лежа

на блестящей скале, увидел двух молодых пантер, игравших, как котята.

Проехав несколько миль от станции, возница вынул из-под повозки саблю, повесил ее себе на шею и временами погонял ею волов. Тарвин видел, что и в этой стране, как ив его родной, все ходили вооруженными. Но три фута неуклюжей полоски стали показались ему плохой заменой изящного и удобного револьвера.

Однажды он встал на повозке и приветствовал то, что показалось ему белой верхушкой американской повозки. Но это была только огромная телега с хлопком, которую везло шестнадцать волов, то поднимавшихся, то опускавшихся с холма. И все это время палящее солнце Индии светило на него, заставляя его удивляться, как мог он когда-либо хвалить вечный свет солнца в Колорадо. На заре скалы горели, как алмазы, а в полдень пески ослепляли его миллионами блестящих искр. К вечеру поднимался холодный сухой ветер, и горы, видневшиеся на горизонте, принимали сотни оттенков под лучами заходившего солнца. Тут Тарвин понял значение выражения «ослепительный Восток», потому что все горы превратились в груды рубинов и аметистов, а лежавшие между ними, в долинах, туманы казались опалами. Он лежал в повозке на спине и смотрел в небо, мечтая о Наулаке и раздумывая, будет ли она подходить к окружающей обстановке.

– Облака знают, к чему я стремлюсь. Это хорошее предзнаменование, – сказал он себе.

Он облюбовал решительный и простой план покупки Наулаки; нужные для этого деньги он надеялся найти в Топазе, втянув город в это дело, конечно незаметно. Он надеялся на Топаз, а если магараджа, когда они заговорят о деле, заломит слишком большую цену, он образует синдикат.

Ударяясь головой о качавшуюся повозку, он раздумывал, где могла быть Кэт. К этому времени, при благоприятных обстоятельствах, она могла бы быть в Бомбее. Это он знал благодаря старательному изучению ее пути; но одинокая девушка не могла добраться так быстро из одного полушария в другое, как он, пришпориваемый любовью к ней и Топазу. Может быть, она отдохнет немного в Бомбее вместе с Зепанской миссией. Он решительно отказывался допустить мысль о том, что она могла заболеть дорогой. Она отдыхала, получала приказания, впитывала в себя некоторые чудеса чуждых земель, презрительно отброшенные им в его стремлении к Востоку; но через несколько дней она

должна быть в Раторе, куда везла его повозка.

Он улыбнулся и с удовольствием облизнул губы, представляя себе их встречу, а затем принялся фантазировать насчет того, как она представляет себе, где он находится.

Он отправился ночным поездом из Топаза в Сан-Франциско сутки спустя после своего разговора с миссис Мьютри, ни с кем не простившись и никому не сказав, куда он отправляется. Кэт может быть, несколько удивилась горячности, с которой он пожелал ей «доброго вечера», когда простился с ней в доме ее отца по возвращении из поездки к «Горячим Ключам». Но она ничего не сказала, а Тарвину удалось усилием воли не выдать себя. На следующий день он спокойно продал часть своих городских облигаций – потеряв на продаже, – чтобы добыть денег на путешествие. Но это было слишком обыкновенное для него дело, чтобы вызвать какие-либо разговоры, и когда в конце концов он смотрел из своего поезда на мелькавшие внизу, в долине, огоньки Топаза, он был уверен, что город, ради процветания которого он отправлялся в Индию, и не подозревал о его великом плане. Чтобы быть вполне уверенным, что в городе распространятся нужные ему слухи, он рассказал кондуктору, раскуривая с ним, по обыкновению, сигару и прося его сохранить в тайне, что отправляется на Аляску, где намеревается заняться в течение некоторого времени выполнением одного небольшого плана относительно золотых приисков.

Кондуктор привел его было в смущение вопросом, как он поступит со своим избранием, но Тарвин нашелся и тут. Он сказал, что это устроено. Ему пришлось открыть кондуктору еще один свой план, но так как он обязал своего собеседника сохранить и эту тайну, то это ничего не значило.

Про себя он размышлял, исполнится ли этот план и сдержит ли миссис Мьютри свое обещание телеграфировать о результате выборов в Ратор. Забавно, что приходится положиться на женщину, что она даст знать, избран ли он членом законодательных учреждений Колорадо; но она – единственное существо, которое знает его адрес, а так как эта идея понравилась ей в связи со всем вообще «очаровательным заговором» (как говорила она), то Тарвин довольствовался ее обещанием.

Когда он убедился, что взору его никогда больше не представится благословенный вид белого человека, а уши никогда не услышат звука понятной речи, повозка прокатилась по ущелью между двумя горами и остановилась

перед станцией. Это был двойной куб из красного песчаника, но – и за это Тарвин был готов заключить его в свои объятия – полный белыми людьми. Они были донельзя легко одеты; они лежали в длинных креслах на веранде; между креслами стояли поношенные чемоданы из телячьей кожи.

Тарвин сошел с повозки, с трудом разминая свои длинные ноги. Он представлял собой маску из пыли – пыли, засыпавшей его сильнее, чем песчаный смерч или циклон. Она уничтожала складки в его одежде и обратила его американский плащ из желтоватого в жемчужно-белый. Она уничтожила разницу между краем его брюк и верхушкой башмаков. Она падала и катилась с него, когда он двигался. Его горячее восклицание «Слава Богу!» замерло в пыльном кашле. Он вошел на веранду, протирая болевшие глаза.

– Добрый вечер, джентльмены, – сказал он. – Нет ли чего-нибудь выпить?

Никто не встал, только громко крикнули слугу. Человек в желтой шелковой одежде, сидевшей на нем, как шелуха на засохшем колосе, кивнул ему головой и лениво спросил:

– Вы от кого?

– Вот как? Неужели они бывают и здесь? – мысленно сказал себе Тарвин, узнавая в этом коротком вопросе всемирный лозунг коммерческого путешественника.

Он прошел вдоль длинного ряда сидевших, пожимая руку каждого в порыве чистой радости и благодарности, прежде чем начал сравнивать Восток с Западом и спросил себя, могут ли эти ленивые, молчаливые люди принадлежать к той же профессии, с которой он делился рассказами, удобствами и политическими мнениями в курительных вагонах и гостиницах в продолжение многих лет. Конечно, это были униженные, унылые пародии тех живых, надоедливых, веселых, бесстыдных животных, которых он знал под названием «коммивояжеров» – странствующих приказчиков. Но, может быть, – боль в спине навела его на эту мысль – они дошли до такого печального упадка, благодаря путешествию в местных экипажах?

Он сунул нос в двенадцатидюймовый стакан виски с содовой и оставил его там, пока ничего не осталось, потом упал на свободный стул и снова оглядел группу сидевших людей.

– Кто-то спросил «от кого я»?.. Я здесь сам по себе, путешествую, как, полагаю, и многие другие, – ради удовольствия.

Он не успел насладиться нелепостью своих слов, как все пятеро разразились громким смехом, смехом людей, давно уже далеких от веселья.

– Удовольствие! – крикнул кто-то. – О, Господи. Боже мой! Удовольствие! Вы не туда попали!

– Хорошо, что вы приехали ради удовольствия. Не то бы умерли, если бы приехали ради дела, – заметил другой.

– Это все равно, что вызвать кровь из камня. Я здесь больше двух недель.

– По какому делу? – спросил Тарвин.

– Мы все здесь больше недели, – проворчал третий.

– Но какое у вас дело? За чем вы гонитесь?

– Вы, вероятно, американец, не так ли?

– Да, Топаз, Колорадо. – Это заявление не произвело никакого впечатления. Он мог бы с одинаковым успехом говорить по-гречески. – Но в чем же дело?

– Видите ли, местный король женился вчера на двух женах. Слышите, как звучат гонги в городе? Он пробует образовать новый кавалерийский полк для службы правительству Индии, и он поссорился со своим политическим резидентом. Целых три дня я провел у дверей полковника Нолана. Он говорит, что ничего не может поделать без разрешения высшей государственной власти. Я пробовал поймать государя, когда он отправлялся на охоту на кабанов. Я пишу каждый день премьер-министру, когда не объезжаю город на верблюде, а вот тут пачка писем от фирмы с вопросами, почему я не собираю денег.

Через десять минут Тарвин стал понимать, что перед ним полинялые представители полудюжины калькуттских и бомбейских фирм, которые

безнадежно осаждают это место во время своей регулярной весенней кампании, чтобы собирать кое-что по счетам раджи, который заказывал пудами, а платил очень неохотно. Он покупал ружья, несессеры, зеркала, украшения для камина, блестящие стеклянные шарики для елки, упряжь, фаэтоны, четверки лошадей, флаконы с духами, хирургические инструменты, канделябры и китайский фарфор дюжинами, сотнями или десятками, смотря по его королевской фантазии. Когда у него пропадал интерес к покупкам, сделанным им, то вместе с тем утрачивался и интерес к уплате за них; а так как мало что занимало его испорченную фантазию более двадцати минут, то иногда случалось, что было достаточно самого факта покупки, и драгоценные тюки из Калькутты оставались нераскрытыми. Мир, предписанный Индийской империи, запрещал ему подымать оружие против своих собратьев-государей и воспользоваться единственным наслаждением, известным ему и его предкам в течение тысячелетий; но оставался несколько измененный вид войны – борьба с получателями по векселям. С одной стороны стоял политический резидент, помещенный тут, чтобы учить его, как хорошо править и, главное, экономии; с другой – то есть у ворот дворца – всегда можно было найти коммивояжера, чувства которого разрывались между презрением к неаккуратному должнику и свойственным англичанам благоговением перед государем. Его величество выезжал насладиться охотой на кабанов, скачками, обучением своей армии, заказами новых ненужных вещей и, временами, управлением своим женским персоналом, которому – гораздо более, чем премьер-министру, – были известны притязания всякого коммивояжера. За резидентом и коммивояжерами стояло правительство Индии, ясно отказывавшееся гарантировать уплату долгов государя и время от времени посылавшее ему на голубой бархатной подушке осыпанные драгоценными камнями знаки какого-нибудь имперского ордена, чтобы подсластить замечания политического резидента.

– Надеюсь, что вы заставляете его платить за все это? – сказал Тарвин.

– Каким образом?

– Ну, в вашей стране, когда покупатель глупит, обещая встретиться с продавцом в такой-то день, в такой-то гостинице и не показывается, потом обещает зайти в магазин и не платит, продавец говорит себе: «Отлично! Если желаете платить по счетам за мое жилье, за вино, ликеры и сигары, пока я дожидаюсь уплаты, – сделайте одолжение. Я как-нибудь убью здесь время». А на следующий день он представляет ему счет за проигрыш в покер.

– А, это интересно. Но как же он записывает на счет эти расходы?

– Конечно, они входят в следующий счет на проданные товары. Он там поднимает цены.

– Это мы сумеем сделать. Трудность состоит в том, чтобы получить деньги.

– Не понимаю, как это у вас хватает времени на то, чтобы киснуть здесь, – убеждал удивленный Тарвин. – Там, откуда я приехал, каждый путешествует по расписанию и если опоздает на один день, то телеграфирует покупателю в следующем городе, чтобы он пришел встретить его на станцию, и продаст ему товары, пока стоит поезд. Он мог бы продать всю землю, пока ваша повозка пройдет милю. А что касается денег, то отчего вы не арестуете старого грешника? На вашем месте я наложил бы арест на всю страну. Я наложил бы запрещение на дворец, даже на корону. Я достал бы исполнительный лист на него и представил бы его – лично, если бы это потребовалось. Я запер бы старика и стал бы сам управлять Раджпутаной, если бы пришлось, но деньги я получил бы.

Сострадательная улыбка пробежала по лицам сидевших.

– Это потому, что вы не знаете, – сказали сразу несколько людей. Потом они стали подробно объяснять все обстоятельства дела. Их вялость исчезла. Все заговорили одновременно.

Вскоре Тарвин заметил, что эти люди, такие ленивые с виду, далеко не глупы. Их метод состоял в том, чтобы смирно лежать у врат величия. Терялось время, но в конце концов уплачивалось кое-что, в особенности, объяснял человек в желтом сюртуке, если суметь заинтересовать своим делом премьер-министра и через него возбудить интерес в женщинах раджи.

В уме Тарвина мелькнуло воспоминание о миссис Мьютри, и он слабо улыбнулся.

Человек в желтом сюртуке продолжал свой рассказ, и Тарвин узнал, что главная жена раджи – убийца, обвиненная в отравлении своего первого мужа. Она лежала, скорчившись в железной клетке, в ожидании казни, когда раджа увидел ее впервые, и – как рассказывали – спросил ее, отравит ли она и его, если он женится на ней. «Наверно, – ответила она, – если он будет обращаться с нею,

как ее покойный муж». Поэтому раджа и женился на ней, отчасти для удовлетворения своей фантазии, но больше – от восторга, вызванного ее грубым ответом.

Эта безродная цыганка менее чем через год заставила раджу и государство лежать у своих ног – ног, по злобным замечаниям женщин раджи, огрубевших от путешествия по постыдным тропам. Она родила радже сына, на котором сосредоточила всю свою гордость и честолюбие, и после его рождения с удвоенной энергией занялась поддержанием своего господства в государстве. Верховное правительство, находившееся за тысячу миль, знало, что она сила, с которой приходилось считаться, и не любило ее. Она часто препятствовала седому, медоточивому политическому резиденту, полковнику Нолану, который жил в розовом доме, на расстоянии полета стрелы от городских ворот. Ее последняя победа была особенно унизительна для полковника: узнав, что проведенный с гор канал, который должен был снабжать летом город водой, пройдет по саду апельсиновых деревьев под ее окнами, она пустила в ход все свое влияние на магараджу. Вследствие этого магараджа велел провести канал другим путем, несмотря на то, что это стоило почти четвертой части его годового содержания, и невзирая на доводы, почти со слезами приводимые резидентом.

Ситабхаи, цыганка, за своими шелковыми занавесями слышала и видела этот разговор между раджой и его политическим резидентом и смеялась.

Тарвин жадно прислушивался. Эти вести поддерживали его намерение; они были на руку ему, хотя совершенно нарушали придуманный раньше план атаки. Перед ним открывался новый мир, для которого у него не было мерок и образцов и где он должен был открыто и постоянно зависеть от вдохновения данной минуты. Ему нужно было прежде, чем сделать первый шаг к Наулаке, как можно лучше ознакомиться с этим миром, и он охотно выслушивал все, что рассказывали ему эти ленивые малые. Он чувствовал, что ему как будто приходится идти назад и начинать с азов. Что нравилось этому странному существу, которого называли раджой? Что могло подействовать на него? Что раздражало его и – главное – чего он боялся?

Он много и напряженно думал, но сказал только:

– Нет ничего удивительного, что ваш раджа – банкрот, если ему приходится иметь дело с таким двором.

– Он один из самых богатых государей в Индии, – возразил человек в желтом сюртуке. – Он сам не знает, что имеет.

– Почему же он не платит своих долгов и заставляет вас бездельничать здесь?

– Потому что он туземец. Он может истратить сотню тысяч фунтов на свадебный пир и отложить уплату векселя в двести рупий на четыре года.

– Вам следовало бы проучить его, – настаивал Тарвин. – Пошлите шерифа описать королевские драгоценности.

– Вы не знаете индийских государей. Они скорее заплатят по векселю, чем отдадут королевские драгоценности. Они – священны. Они составляют часть государства.

– Ах, хотел бы я посмотреть «счастье государства»! – крикнул чей-то голос, как впоследствии узнал Тарвин, принадлежавший агенту калькуттской ювелирной фирмы.

– Это что такое? – спросил Тарвин насколько возможно равнодушно, потягивая виски с содовой водой.

– Наулака. Разве вы не знаете?

Тарвин был избавлен от необходимости отвечать человеком в желтой одежде, сказавшим:

– Чепуха! Все эти рассказы о Наулаке выдуманы жрецами.

– Не думаю, – рассудительно заметил агент. – Раджа говорил мне, когда я в последний раз был здесь, что он показывал однажды ожерелье вице-королю. Но это единственный из иностранцев, который видел его. Раджа уверял меня, что и сам не знает, где оно находится.

– Неужели вы верите в резные изумруды величиной в два дюйма? – спросил первый из собеседников, обращаясь к Тарвину.

– Это только то, что находится в центре, – сказал ювелир, – и я готов побиться об заклад, что это чрезвычайно ценный изумруд. Не тому я удивляюсь. Я изумляюсь, каким образом люди, которые нисколько не заботятся о чистоте камня, ухитрились собрать не менее пятидесяти безупречных драгоценных камней. Говорят, что изготовление ожерелья было начато во времена Вильгельма Завоевателя.

– Ну, времени было достаточно, – сказал Тарвин. – Я сам взялся бы набрать драгоценностей, если бы мне дали на это восемь веков.

Он лежал в кресле, чуть отвернувшись от собеседников. Сердце у него сильно билось. В свое время он занимался конями, спекуляциями по части продажи и купли земли и скота. Ему случалось переживать мгновения, от которых зависела его жизнь. Но никогда ему не приходилось переживать такого мгновения, которое равнялось бы восьми векам.

Собеседники с оттенком сожаления в глазах взглянули на него.

– Совершеннейшие образцы девяти драгоценных камней – начал ювелир, – рубин, изумруд, сапфир, бриллиант, опал, кошачий глаз, бирюза, аметист и…

– Топаз? – с видом владельца спросил Тарвин.

– Нет, черный бриллиант – черный, как ночь.

– Но откуда вы знаете это? Как вы собираете эти сведения? – с любопытством спросил Тарвин.

– Как и все сведения в туземном государстве – из обыкновенных разговоров, доказать правдивость которых очень трудно. Никто не может даже отгадать, где находится это ожерелье.

– Вероятно, под фундаментом одного из храмов города, – сказал человек в желтом сюртуке.

Тарвин, несмотря на все усилия сдержаться, не мог не загореться при этих словах. Он уже представлял себе, как перерывает весь город.

– Где же город? – осведомился он.

Ему показали на скалу, обнесенную тройным рядом стен, на которую падали лучи палящего солнца. Город был совершенно такой же, как многие разоренные города, по которым проезжал Тарвин. Другая скала, темно-красного, сердитого цвета, возвышалась над этой скалой. До подножия скалы простирались желтые пески настоящей пустыни – пустыни, в которой не было ни дерева, ни куста, только дикие ослы, да в самой глубине, как говорят, дикие верблюды.

Тарвин пристально смотрел в трепетавшую дымку зноя и не видел в городе признаков жизни или движения. Было послеполуденное время, и подданные его величества спали. Итак, это уединенная, твердая скала – видимая цель его путешествия, Иерихон, атаковать которую он явился из Топаза.

«Если бы из Нью-Йорка явился какой-нибудь человек в повозке, чтобы кружить вокруг Согуачского хребта, каким бы дураком я назвал его!» – подумал он.

Он встал и потянулся.

– Когда становится настолько прохладно, что можно побывать в городе? – спросил он.

– Что такое? Побывать в городе? Лучше поберегитесь. У вас могут выйти неприятности с резидентом, – дружески предупредил советчик.

Тарвин никак не мог понять, почему может быть запрещена прогулка по самому мертвому городу, какой он когда-либо видел. Но он промолчал, так как находился в чужой стране, в которой ему только и было знакомо известное стремление женщин к власти. Он хорошенько осмотрит город. Иначе он начинал опасаться, что поразительный застой, царящий на обнесенной стенами скале, где по-прежнему не замечено было и признака жизни, повлияет на него или обратит в ленивого калькуттского торговца.

Нужно сделать что-нибудь сейчас же, пока не отупел ум. Он спросил дорогу к почтово-телеграфному отделению; несмотря на телеграфные провода, он сомневался в существовании телеграфа в Раторе.

– Между прочим, – крикнул вслед ему один из торговцев, – следует помнить, что всякая телеграмма, которую вы пошлете отсюда, пройдет через руки всех придворных и будет показана радже.

Тарвин поблагодарил и подумал, что это действительно следует помнить. Он тащился по песку к закрытой магометанской мечети вблизи дороги; в мечети теперь располагалось телеграфное отделение.

Местный солдат лежал на ступенях мечети. Он крепко спал, привязав лошадь к длинной бамбуковой пике, воткнутой в землю. Не видно было никакого признака жизни; только голуби сонно ворковали во тьме под аркой.

Тарвин уныло оглянулся вокруг, ища в этой странной стране белый с синим флаг западного союза или что-нибудь подобное. Он видел, что телеграфные провода исчезали в дыре купола мечети. Под сводом с арками виднелись две или три деревянные двери. Он открыл наудачу одну из них и наступил на какое-то теплое волосатое существо, которое с ревом поднялось с земли. Тарвин еле успел отскочить в сторону, как мимо него пронесся молодой буйвол. Не смутившись, он отворил другую дверь и увидел лестницу шириной в восемнадцать дюймов. Он с трудом поднялся по ней. Здание было безмолвно, как могила, которой оно служило некогда. Он открыл еще дверь и, споткнувшись, вошел в комнату с куполообразным потолком, покрытым лепными украшениями варварских цветов, среди которых виднелись мириады крошечных зеркальных кусочков. Он невольно прищурил глаза от потока света и блеска белоснежного пола, особенно яркого после полного мрака на лестнице. Комната была, несомненно, телеграфным отделением, так как на дешевом туалетном столике стоял ветхий аппарат. Лучи солнца лились потоком в отверстие в куполе, проделанное, чтобы провести телеграфные провода, и оставшееся не заделанным.

Тарвин стоял и разглядывал все вокруг при свете солнца. Он снял мягкую широкополую западную шляпу, которую находил слишком теплой для этого климата, и отер лоб. При виде этого стройного, освещенного солнцем, хорошо сложенного, сильного человека всякий, кто проник бы в это таинственное место, имея злой умысел против него, должен был решить, что он не из тех, на кого можно напасть безнаказанно.

Он дергал длинные, жидкие усы, повисшие в уголках рта, принявшие такое положение вследствие привычки потягивать их при раздумье, и бормотал

живописные замечания на языке, которому никогда не отвечало эхо этих стен. Есть ли возможность связаться с Соединенными Штатами Америки из этой пропасти забвения? Даже «черт побери», возвращавшееся к нему из глубины купола, звучало как-то по-иностранному и невыразительно.

На полу лежала какая-то фигура, прикрытая простыней.

– Как раз подходящее место для мертвеца! – вскрикнул Тарвин. – Эй, ты! Вставай!

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/redyard-kipling/naulaka

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити